

РАЗДЕЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Дети войны вспоминают: Могилев

В двух книгах

Книга 2

Могилев

2014

УДК 94(476.4)»1941/1945»

ББК 63.3(4Бел-2Мог)622

P17

Составители:

И. М. Шендерович, А. Л. Литин

Вступительная статья:

И. Н. Романова, И. М. Шендерович

Фотографии из семейных альбомов респондентов,
коллекции О. Лисовского,
Могилевского областного краеведческого музея,
Федерального архива Германии,
А. Литина, И. Шендерович, Л. Галушко,
Л. Соловьевой, Ю. Пеплер.

Разделенные войной. Дети войны вспоминают : Могилев. Р17 лев. В 2 кн. Кн. 2 / Сост. : И. Шендерович, А. Литин. — Могилев : 2014. — 290 с. : фот.

Во второй книге собраны воспоминания уроженцев Могилева и окрестностей о войне, о том времени, когда они были детьми и подростками. Это исповеди евреев, русских и белорусов, которые вместе жили, играли, учились, и чья прежняя жизнь была разрушена в одно мгновение. Это истории тех, кого называют простыми мирными гражданами, о том, как и благодаря чему они выжили. Истории о жизни как таковой, несмотря ни на что, вопреки...

УДК 94(476.4)»1941/1945»

ББК 63.3(4Бел-2Мог)622

© Шендерович И. М., 2014

© Литин А. Л., 2014

© Романова И. Н., 2014

Предисловие к книге 2

В этой книге собраны воспоминания людей, родившихся и живших до Второй мировой войны в Могилеве и его окрестностях. Это истории мужчин и женщин с разными судьбами, но у всех у них детство или отрочество было одинаково жестко разделено на три части: «до войны», «во время войны» и «после войны». Что такое четыре года на линейке жизни человека? Мгновение, не больше. А в условиях войны? Целая вечность! Эти несколько лет изменили жизнь стран и народов, изменили самого человека.

Объединенные общей темой войны — искренние, яркие и эмоциональные, как впечатления детей, — воспоминания наполнены мудростью проживших жизнь стариков.

Спонсоры проекта

Мемориальный комплекс **Яд Вашем**
при поддержке благотворительного фонда «Генезис»
и Европейского Еврейского Фонда



Неоценимую помощь в сборе материалов и работе над книгой оказали: Александр Сомов, Семен Двоскин, Инна Соркина, Олег Давид Лисовский, Ольга Серякова, Ирина Заикина, Анатолий Черных, МОЕБЦ «Хэсэд Барух», Могилевский областной краеведческий музей.

Могилев

1068 дней оккупации

В соответствии с переписью населения 1939 года, в Могилеве насчитывалось: 99 400 жителей (в том числе 19 715 евреев — 19,83 %). В 1941 году в городе проживало 120 тысяч жителей.

Уже в конце июня 1941 года германские войска были в районе Могилева. С 4 июля шли военные действия на всех направлениях в предместьях города. Особенно тяжелые бои разворачивались в поселке Буйничи.

26 июля 1941 года Могилев был оккупирован. На территории города были созданы 5 лагерей смерти (в том числе Гребневский, Луполовский лагерь смерти, 341-й пересыльный лагерь для советских военнопленных), лагерь для гражданского населения на территории завода им. Димитрова (сейчас завод «Строммашина»), рабочий лагерь на территории шелковой фабрики, центральный лагерь СС на территории авторемзавода, лагерь на территории Быховских кавалерийских казарм, трудовые лагеря (в здании пропускного лагеря для военнопленных и в бывших казармах милиции).

Евреи города и окрестностей были согнаны нацистами в Могилевское гетто в районе набережной реки Дубровенки. После уничтожения большей части евреев примерно тысяча оставшихся в живых из узников гетто перемещена в концлагерь на территории завода им. Димитрова.

В годы войны в Могилеве и окрестностях погибло более 70 тысяч советских граждан, в том числе жителей города и окрестностей, военнопленных, беженцев, евреев из Могилевского района, Слонима и Польши (не менее 10,5 тысяч), около 30 тысяч могилевчан вывезено на принудительные работы в Германию и другие страны.

Могилев освобожден Советской Армией 28 июня 1944 года.

Береснев Герасим Борисович, 1926 г. р.

Я родился на хуторе около деревни Макавня Мостокского сельсовета Могилевского района в 1926 или 1927 году. Я даже сам не знаю, когда именно родился. В 1939 году, во время «укрупнения», нас переселили в деревню.



Перед войной мы жили вместе с папой Борисом, мамой Агафьей, бабушкой, сестрой Екатериной (старше меня на год). Отец прошел японскую и германскую войны, ему было уже больше шестидесяти. У нас в семье было 6 детей.

Перед войной радио у нас в деревне не было, только по телефону в сельсовете могли новости узнать. 22 июня мы пришли в школу за аттестатами (я как раз 7 классов окончил) и там объявили о начале войны.

Когда войска шли через деревню, все испугались. Ховались, кто куда. Немцы шли, умывались в колодце. Забирали из дома курей, яйца.

Были сразу призваны на фронт сестра Мария (она работала в Могилеве акушеркой), старший брата и мужа двух старших сестер.

Мария стала старшим лейтенантом медицинской службы. Она попала в окружение под Сталинградом в 1942 году. Лесов там не было, пробиться было нельзя. Где-то под Курском ей помогли переодеться в гражданское и выйти. Осенью 1942 года она вернулась домой. Перезимовала и весной 1943 года начала сотрудничать с партизанами.

Зона у нас была не партизанская, лесов не было. Не было карательных акций, блокад, молодежь

насильно не угоняли в Германию (в партизанской зоне молодежь увозили сразу).

У нас в 1941 году колхоз немцы не разоряли, все, что в хозяйстве было, и колхозную землю раздали крестьянам. Только перед отступлением в 1944 году стали забирать домашних животных, а до этого практически не трогали. Тогда и молодежь стали забирать в Германию. Но я-то в это время уже был в партизанах. Назначили, помню, от деревни только двоих человек отправить в Германию, так поехали парни из многодетных бедных семей. Один после войны вернулся, а второй погиб. Тот, что вернулся, рассказал, что поселили их в хозяйствах недалеко друг от друга. Второй парень оказался в семье, где над ним хозяева так издевались, что он не выдержал. Спалил хозяйский дом и сам повесился.

Помню, правда, что всех, у кого были лошади, заставляли возить что-нибудь для немцев. Некоторые отвозили, потом лошадей бросят — и ходу. Я был ростом небольшой, папа пожилой, лошади у нас не было, так нас не трогали.

Немецкие солдаты входят в одну из деревень Могилевской области. Июль 1941 г. Фото из фондов Федерального архива Гемании



В начале оккупации многие мужчины пошли в полицаи, во власть. Думали, что надо будет ходить по деревне, командовать мужиками, выбивать из них что-то, пить горелку и все.

Но в 1942 году в волости появилась группа партизан. Они убили трех полицейских из разных деревень. Когда тела убитых развезли по деревням, все сразу успокоились и в полицаи больше не рвались. Сразу кто сказался больным, кто кривым. Молодых полицаев забрали в гарнизон. Оставили в деревне только бургомистра, старосту, урядника.

Довоенный председатель нашего колхоза был старым человеком, он еще в царской армии был офицером, поэтому по отношению к нему преследования не было. Он и при новой власти остался председателем. Всех мужчин из деревни забрали на фронт, и ему как-то разрешили брать военнопленных из лагеря на работы. Председатель привел примерно 20 пленных молоть зерно. Кроме этих мужчин, у нас в деревне на квартирах жили и другие «окруженцы» — солдаты Советской Армии, попавшие в плен.

Этих людей партизаны хотели вывести в лес. Обстрелянные, проверенные мужчины были им очень нужны. Но как им уйти? Доверять тогда кому-то было не так-то легко. Висели объявления: за содержание евреев — расстрел, за связь с партизанами — расстрел. Связной вполне мог оказаться не посланцем партизан, а провокатором, подосланным гестапо.

Помогли партизанам учительницы. Учительница Елена Мельникова жила в нашей деревне, а в деревне Машинаки, где была волость, — жила учительница Толкачева. У Толкачевой было двое или

трое детей, муж ее был на фронте. Эти учительницы очень много делали в борьбе против немцев. Партизанская связная приносила им листовки, газеты. Объединилось несколько пленных, но уйти не решались. Учительница порекомендовала им прийти к моей сестре. Сестра первая пошла в партизаны. Она ненавидела немцев.

Сестра придумала, как сделать, чтобы наша семья не пострадала. Через некоторое время, она прислала записку, что когда была в городе Могилеве по делам, ее в облаве поймали немцы и «прощайте, я уехала в Германию». Записку принесла учительница Толкачева, связанная с партизанами. Эта записка должна была отвести подозрения полицаев и немцев от нее и от нашей семьи. Кто поверил, кто не поверил, но записка рукой сестры написана, кто ж докажет что-то другое? Потом сестра прислала нам еще одну записку, тайную, о том, что она в партизанском отряде.

К Толкачевой приходила связная из отряда. Если бы к ней стали приходиться еще и бывшие военнопленные, то это вызвало бы подозрения. Она и так рисковала; если бы кто-то донес, расстреляли бы и ее, и всю семью. Стал я встречаться с этими пленными. Не со всеми, конечно, но с некоторыми, которых я знал.

Потом к нам пришел целый взвод партизан и забрал пленных с собой. Не только в нашей деревне партизаны мужчин забирали, но и в других.

В первую очередь мы с учительницами отправили 21-летнего Михаила Переплетчикова (у нас он считался Перепелкиным). Он попал в нашу деревню из лагеря военнопленных, жил на квартире у старухи, работал. Учительница мне сказа-

ла, что Миша — еврей, его бояться не надо, как еврей он уже не будет предавать. Если кого-то выдаст, то и себя предаст. Михаил был военным. Он был очень смелым, смелее всех.

Как-то, до того, как Миша ушел в партизаны, полицейские из гарнизона приехали к своему товарищу в нашу деревню на отдых, а в это время ко мне пришла связная. Полицаи увидели незнакомую женщину и хотели ее убить. Миша сказал полицейским, что знает ее, и защитил. Связная ушла из деревни, спряталась в лесу. Она боялась, что за ней будут следить. Меня предупредили, что связная приходила, и я подумал, что она далеко не ушла. Подошел к кустам за деревней, а она оттуда на меня пистолет наставила: «Хвоста не привел?» Она предупредила, когда они придут за группой окруженцев. Я сказал Мише: «Вас будут ждать в Згрудеевском лесу». Он сперва растерялся, потом поговорил с хлопцами и увел всех, кто согласился. Он организовал первую группу и сам отвел ее к партизанам. Идти в лес было опасно. Шли очень осторожно, с разведкой, потому что немцы или полицейские часто делали засады.

В отряде Миша стал командиром отделения.

В следующий раз, во второй заход, где-то через месяц, в июле 1943 года, и я ушел с партизанами. Мне уже шел семнадцатый год. Учительницы организовали еще несколько мужчин для перехода в партизанский отряд. Если бы я уже не участвовал в выводе людей к партизанам, меня бы в отряд не взяли.

Под началом Гришина формировали новую партизанскую бригаду, и меня с этими военнопленными отправили в нее. Мы были в Быховском районе.

Евреев в партизанах было много — столько, сколько смогло уйти. Вообще евреев у нас много было. Помню корреспондента Серебрякова, в отряде он был политруком. Он попал в партизаны из кричевского лагеря военнопленных. Там военнопленные работали на заводе. Рассказывал, как артисты из Московского театра, которых потом немцы убили, пели там «Дубинушку» и у всех слезы были на глазах. После этого и он побег совершил. Серебряков после войны с женой часто приезжал к сестре. Ее, как фельдшера, многие знали.

Однажды в Смоленске, в лесу, наш отряд наткнулся прямо в лесу на еврейского мальчика лет 12—13. Он потом тоже был в нашем отряде. Имени его я не помню, все его звали «солдат Швейк». Тогда детей в партизаны не брали, но он храбрый был, уговорил. После войны он все время приезжал на встречи партизан. Помню Буйновера, разведчика Штабеля.

Муж учительницы Мельниковой был членом партии, директором школы. До самого прихода немцев все, что поручено делал. Тогда угоняли скот в тыл, эвакуировали людей и имущество. Его и председателя сельсовета Петровского чуть не захватили немцы. Мельникову и Петровскому пришлось бежать прямо из школы в лес. Они уже были закреплены за партизанскими отрядами. Мельников попал в Гомельскую область, был там начальником штаба партизанского отряда. Уже после освобождения он забрал из деревни жену и детей.

Обе учительницы остались живы, но тех людей, связанных и командиров, с которыми они сотрудничали, убили. Поэтому потом они не смогли доказать, что помогали партизанам.

Была еще такая история. Как-то к нам пришли молодые парни. «Пропуска» они не знали. «Пропуском» мы пароль называли, чтобы было не так, как у полицаев. Парни сказали, что у них дома лежит разобранный пулемет, и они бы хотели попасть в отряд. Поехали вчетвером на конях в их деревню. Я отправился вперед, в разведку. Постучал в окно. Вышел немец и спросил пароль. Я выстрелил. Выскочило человек двенадцать, стали окружать. Я рванул в лес, отстреливаясь по пути, а в лесу уже никого нет. Необстрелянные парни испугались, убежали и лошадей увели. Мы с напарником спрятались. Стемнело. Немцы ночью в лес не пошли. Мы пришли в соседнюю деревню за 3 километра. Там нашли наших парней. Испуганные, побелевшие, растерянные, они не знали, что им делать. Пойдут к партизанам — застрелят, пойдут к немцам — убьют. Завезли их в особый отдел партизанского отряда. Защищали их, как могли. Парней оставили в отряде, но недоверие сохранилось. После освобождения их сразу на фронт отправили.

В нашем отряде было два Героя войны с Японией. Один из них, Терешков, попал в окружение и вышел в наш полк Гришина. Скорее всего, ему бы никто не поверил, когда он сказал, сто Герой, но командир 1-го батальона его сразу опознал, потому что до войны

*Герасим
Береснев
после парада
советских
войск в
Смоленске,
1944 г.*



был на лекции Терешкова. Потом Терешкова забрали в тыл.

Как-то зимой мы ехали в штаб полка. Ехали на повозке с ржаным зерном на водяную мельницу. Хотели смолоть зерно для партизан. Впереди — два конника-разведчика. Подъехали к деревне. Там стояли партизаны, которые сказали, что немцев здесь нет. Стало темнеть. Вдруг я заметил, что впереди немцы скрытно делают перебежку. Понял, что они готовились встречать партизан. Я только успел резко развернуть лошадь, как сзади в нас стал стрелять пулемет. Лошадей посекло, но пули попали в мякоть и лошади не упали. Так хорошее зрение меня спасло.

Встреча партизан. В центре — юный партизан по кличке Солдат Швейк, 1970-е гг.

Половина партизан ходила в немецкой форме. Однажды схватили мужчину в такой форме, который бежал к командиру, хотел его остановить. Кто-то закричал: «Что ты своего бьешь?» Проверили документы — немец. Думал, что убьет командира и команда рассеется.



Потом началась блокада. Такая блокада, что немцы по 5 атак в день делали. 25 дней бились в окружении. Тем, кому удалось вырваться из окружения, дали приказ рассеяться по взводам, по ротам, по отдельности. Я ушел с группой из 5 человек. Там, где была блокада, теперь памятник стоит. Только нашему полку поставили такой памятник — Курган Славы в деревне Добуж. На этом Кургане мы, «гришинцы», много лет каждый год на встречи собирались.

После блокады ушли через паромную переправу через Днепр. Там свои люди были. Связался с учительницами, там еще собрались люди, связались с «османовцами», отряд которых был за Днепром. Перебрались все в отряд к Осману. Была уже глубокая осень. Пришли еще «гришинцы», кто взводом, кто по отдельности. «Османовцы» меня отпустили назад к Гришину. Там я пробыл до соединения отрядов.

Я шел в составе 1-й бригады «гришинцев». По дороге в Смоленск мы остановились в одной деревне. Старшина вышел куда-то, вскоре прибежал и сказал, что его обстреляли. Оказалось, что в лесу за линией фронта остались полицаи и немцы. Чуть не погибли.

После соединения отряды расформировывали и отправляли после проверки кого в Могилев, кого в Минск, а нас отправили в Смоленск. Там всех, кто был связан с немцами (а там был даже целый батальон власовцев из бывших советских десантников), отправили в особый отдел и на фронт.

Мне 18 лет еще не было, и меня отправили домой. Приехали подбирать ребят в военные училища. Я хотел в морское училище. Но в начале войны,

когда бой шел через нашу деревню, шли танки, я был ранен и получил контузию. С контузией в морские училища не брали. Я хотел скрыть, но врач сразу догадался. Поступил в военно-фельдшерское училище. Потом его расформировали, мне присвоили звание сержанта и отправили на фронт. Попал в 88-й гвардейский Краснознаменный полк. Знамя, в честь которого назвали полк, спас во время войны старик Тяпкин из Черикова. Я еще под конец войны повоевать успел.

Михаил Переплетчиков остался жив. Он приезжал в нашу деревню сразу после освобождения в отпуск на месяц. Ему некуда было идти. Он появился раньше меня, и сестры и рассказал нашим, что мы живы. Мы с Мишкой были друзьями. Узнали мы, что вернулся в деревню один немецкий подхалим. Мишка сразу за пистолет схватился: «Пошли, убьем его, как собаку!» Но где ты его найдешь? Потом Мишка уехал на Украину, а потом, наверное, в Израиль.

Герасим Береснев с женой. Начало 1950-х гг.



После войны я жил в Могилеве в квартире на улице Лазаренко, напротив школы № 4. Семейю хозяина квартиры и его брата, которые были на фронте, расстреляли за то, что сын пошел в партизаны. Кто-то подсмотрел и донес, что брата, когда он заболел, привезли домой. Всю семью из 6 человек убили прямо во дворе и там же поставили памятник. Работал на заводе, избирался председателем профкома. Сестра работала в больнице.

Каждый год мы, бывшие партизаны, приезжали на Курган Славы. Сейчас мало осталось.

Беседа (Метлицкая) Мария Лукьяновна, 1925 г. р.

Я родилась в деревне Угалье Вендрожского сельсовета Могилевского района.

До войны в нашей деревне было больше ста дворов, сейчас не более десяти осталось.

У меня был старший брат Саша, 1914 г. р., сестра Галя, 1922 г. р., папа и мама.

До войны Саша с другом поехал на работу куда-то далеко в район Хабаровска. Тогда было плановое переселение. Маме так хотелось переселиться к сыну поближе, прямо помирала, что мы в 1940 году все поехали в Россию в Челябинскую область. С нами поехала двоюродная сестра, Нина Чичирка с мужем. Брат был где-то на Амуре, мы до него не доехали. Нас разместили в поселке. Там школы не было, надо было ходить за 14 километров. Нина с мужем решили вернуться в Могилев, у них был дом на



Грушевской, и меня отправили с ними, чтобы я могла учиться.

Я вернулась в Угалье и там пошла в школу в 8 класс. Жила я у дяди, папиного брата. У дяди Сергея было трое детей: Миша, Оля, Нина. Там меня застала война.

В начале войны через деревню ехали на конях, на подводах беженцы. Когда проходили первые немцы, застрелили брата моего будущего мужа Василя Новикова. Василь с мужиками копали яму на кладбище для того, чтобы похоронить одну нашу бабу. Немцы там его и застрелили, наоборот, не разобрались, что мужчины делают.

Когда стали отправлять молодежь в Германию, женатых не брали. В 1942 году меня, уже 17-летней, решили выдать замуж за соседа, ровесника Алексея Новикова. В их семье было 12 детей. Сделали мне всей деревней свадьбу. Я стала жить в их семье.

Мария Беседа с мамой, 1930-е гг.

Как-то Лешу забрали в полицию в Могилев, а мы с сестрой Манькой его оттуда увели. Обяза-



ли платком, переодели и как девушку вели пешком из Могилева. В Добросневичах он встретился с партизанами в военной форме и там остался в 208-м Кличевском отряде. Обо всем договорилась Манька, у нее в отряде был кавалер.

Несколько раз немцы и полицаи устраивали партизанам блокировку, но погиб Леша не в бою. Его убили в 1943 году. Нам кто-то тогда сказал, что его застрелили в деревне Корпать под Белевичами. Я побежала через деревню Березовка, спрашивала у всех, что и как, но никто ничего не слышал. Так ничего и не нашла. Мы с Манькой поехали на коне искать могилу. Раскопали яму. В яме лежат старенький, седой-седой дед в колушке и Леша. Когда раскапывали, Маня каблучком ботинка случайно наступила деду на голову и пробила.

Мы привезли тело мужа домой. Мать его не признала, пока не обмыли. Кто убил Лешу и деда мы так и не узнали, говорили, что то ли немцы, то ли полицаи, то ли так люди какие-то, вроде из-за

Первые дни оккупации. Деревня под Могилевом. Июль-август 1941 г. Фото из фондов Федерального архива Германии



лошади их застрелили. Леша был очень красивым высоким парнем.

Когда ночью возле гроба сидели, мне приснился сон. Как будто покойный Леша дает мне выпить сырое яйцо, а я говорю, что не пью сырые яйца, а он меня уговаривает. Яйцо выпало между нашими руками, разбилось. Белок растекся, а желток лежит целый. Я его рукой подняла и проглотила. Вздрогнула и проснулась. Со мной сидела жена дяди. Когда я ей пересказала свой сон, она сказала, что я беременна. Так потом и оказалось.

Через некоторое время убили отца мужа. После смерти Леша я жила то у одной тетки, то у другой. У тетки Веры в мае 1944 года я родила сына и с 4-месячным ребенком поехала к родителям в сторону Челябинска. Ехала на товарном поезде. Было немного хлеба и сахарина. Долго добиралась до Троицка. Из Троицка ехала на машине, которая возила зерно.

Шофер меня высадил ночью в немецком поселении. Там были земляные хатки. Немцы ночью сортировали зерно и крали его, поэтому были начеку. Хорошо, какая-то немка знала моего батьку. Она меня взяла к себе переночевать и рассказала, как идти, а наутро я пошла за три километра к родителям. На руках ребенок, за спиной — рюкзак. Зашла в нашу земляную хатку. Батька пас овец. Собачка меня не пускала. Соседка молола зерно. Матка что-то делала с тестом, руки были в тесте. Она, не глядя, говорит мне: «Заходите, не бойтесь, собачка не кусается». Она думала, что я из тех меняльщиц, что тогда ходили. Я все-таки всунулась в хату. Ком в горле, плакать хочу, ничего не могу сказать. Чуть в обморок не упала. Я заплакала, а мама смотрит на меня с ребенком и не узнает: «Может, это ты, Манька?»

Брудолей Галина (Голда) Григорьевна, 1921 г. р.

Я родилась в еврейском местечке Селец (когда-то в адресе на конверте писала «Селец-Еврейский») в бедной многодетной семье. Отец, Григорий Брудолей, родом из Костополя Западной Украины (умер в 1928 году). В свое время они с братом и его семьей бежали за счастьем в Белоруссию. А специализировались они на заготовке древесины для мебельной фабрики в Быхове.



Папа обычно уезжал на работу на всю неделю. А мама и мы, дети, занимались земледелием. Я в десять лет жала уже наравне с женщинами. Помню момент, когда папа прибежал домой радостный и повторял: «Мы бедняки! Мы бедняки!» Я позже поняла, почему он радовался. В то время у нас был гектар с четвертью земли на такую большую семью, а ведь с нами жила еще и бабушка, которая помогала маме нас растить. Когда объявили коллективизацию, забрали в колхоз весь скот. У нас тоже корову забрали, так что и есть нечего стало. А через некоторое время объявили это перегибом и разрешили корову забрать. Брат сразу за ней побежал и довольный назад привел. Но это ему аукнулось: не приняли его за это в пионеры. Тогда бабушка пошла за него просить: «Возьмите внука — сидит, плачет...» Пожалели.

В семье было четверо детей. Три мальчика старше меня, я самая маленькая. Мама Тайбе овдовела в 36 лет. Она, очень трудолюбивая и мудрая женщина, смогла воспитать всех детей так, что я всегда вспоминаю ее с благодарностью. Старший брат

фактически стал для меня отцом, ему тогда было шестнадцать лет, а мне — шесть.

Бабушка и мама были очень религиозными. Они нам шептали на идиш: «Когда вам говорят, что Б-га нет, вы молчите. Против света не пойдешь, но в сердце держите, что Б-г есть!» Мама нигде никогда официально не училась, но читала на иврите и на память молитвы знала.

По рассказам я немного знаю о дедушке и прабабушке по материнской линии. Прабабушка была бабкой-повитухой, принимала роды во всей Вендрожской волости. Мама мне рассказывала, как она мыла перед этим руки, а у меня потом была возможность сравнить с тем, как нас учили. И вы знаете, она это делала по всем правилам гигиены и эпидемиологии! Ее знали и уважали очень многие.

Дед, Меер Чарный, считался местным раввином. Он не работал, только молился. Приходили к нему люди за всякими советами, а он мог все проблемы «разложить по полочкам».

Помню, что к нам домой приходил учитель-меламед, который занимался с братьями. А я в это время забиралась под стол и все слушала, многое запоминала и братьям подсказывала. Старший брат Гриша не хотел учиться, он лошадей любил, и все время с ними проводил.

*Гриша Бру-
долей, отец
Галины, во
время немец-
кого плена в
период Пер-
вой мировой
войны,
1918 г.*



Перед войной Гриша имел образование в объеме начальной сельской еврейской школы. А два других брата учились с желанием и уже перед войной имели высшее образование. Средний, Мирон, учился в школе № 1, потом работал на строительстве шелковой фабрики, окончил рабфак, перед войной уехал в Ташкент искать счастья. Там он окончил институт легкой промышленности, женился и жил. Младший брат Миша был авиатором, окончил в Харькове авиационную школу.

Когда мы ходили в синагогу, женщины садились поближе к маме, чтобы она подсказывала слова. По-русски она научилась писать позже и всем еврейским старушкам писала письма. А когда я подросла и научилась писать, передала это дело в мои руки. Они с бабушкой были очень добрыми. И не только к нам — помогали беднякам, хоть сами богачками никогда не были. Привечали любого, русский ли, еврей. Могли последнюю одежду отдать, если видели, у него одежда плохая. Уже когда мы жили в Могилеве, мама очень жалела нашу соседку Настеньку, которая часто болела. Всегда в печке был горячий чай, который она готова была и в холод, и в дождь нести к ней домой.

В Сельце было две синагоги. Одна сгорела в 20-е годы. Я была маленькой, но пожар очень

*Тайба Брудолей, мать Галины.
1910-е гг.*



хорошо помню. Во второй сделали склад, а потом клуб. Мы ходили туда на танцы.

Я окончила 7 классов еврейской школы в Сельце в 1937 году. Две мои учительницы жили у нас на квартире. Потом училась в школе № 3 в Могилеве, жила в школьном интернате, затем у старшего брата на съемной квартире. Был зимний набор в медицинском техникуме, и мы решили, что будет лучше, если я продолжу учебу там. Ведь там давали стипендию. Так я и сделала. Перед самой войной мы продали дом в Сельце и переехали в Могилев, купили небольшой домик возле аэродрома на Луполово (когда мы вернулись после войны, его уже не было).

Я очень любила свою профессию, старалась, училась очень хорошо, видно, в маму пошла. Это в жизни мне очень помогло.

В 1939 году я уже окончила учебу, получила специальность фельдшера. Это был выпуск специально для Западных районов Беларуси, но меня оставили в Могилеве, направили в Луполовскую амбулаторию. Заведовал ею Моисей Лазаревич

Повестка
Брудолей
Галине.
23 июня
1941 г.

76 коллекция 5859
Коллекция
Военнообязанному запасу тов. Бригадей Галине Гуровиче
Луполово 1940. Могилев. дом № 8
(фамилия, имя и отчество)
(адрес)

П О В Е С Т К А

Приказываю Вам 23. июня с/в.к. 10 часам
явиться для прохождения военно-учебного сбора по адресу:
Аллей Н.Т.С.К.Кооператива, Песчанка дом № 28

Администрация по месту Вашей работы (службы) обязана выдать Вам зарплату полностью по день ухода на сбор и аванс в счет заработной платы за две недели вперед. При явке на сбор иметь с собой документы и вещи, указанные на обороте.

За нарушение в указанные срок с дене привлечен к ответственности по уголовному кодексу.

Горисенкомат.

Гуревич. Мы сидели с ним в соседних кабинетах. Он мне говорил: «Если у тебя неясный больной, ты не бегай. Постучи в стеночку, я приду, посмотрю». У него я училась работать и стала хорошим специалистом. Работала больше двух лет участковым фельдшером.

Когда началась война, старшего брата взяли только в нестроевую хозяйственную часть на Мышаковке, потому что он был кормильцем семьи.

У меня после окончания техникума было звание лейтенанта медицинской службы. По повестке я пришла в военкомат, и меня в первый же день направили в госпиталь № 1430 в Кооперативном переулке (по-моему, это здание и сейчас еще существует). Начальником госпиталя там был Наум Львович Сандлер — очень умный и толковый специалист, обладавший изумительной памятью.

Формулы чуть ли не всех лекарств он знал на память. В первые дни войны работать было очень трудно. Госпиталь был в довольно неприглядном виде. Раненых везли машинами. На полу лежала солома, она и была вместо кроватей. Где была перевязочная, где операционная — не разберешь.

Тогда было заброшено в Могилев много диверсантов. Я сначала сидела в регистратуре — все старались встать на учет, что бы обеспечить себя

Михаил Григорьевич Брудонлей, брат Голды, после окончания Харьковского училища авиационных штурманов. Довоенная зима 1941 г.



пайком и лечением. И заметила, что один в милицейской форме, с подвязанной рукой, только подходит, послушает вопросы и ответы и отходит. Мне стало это подозрительно, и я побежала к замполиту. А тот, как увидел, что я отошла, кинулся убежать. Его поймали. Оказался он диверсантом, руководителем какой-то большой группы. Вот так началась для меня война.

Несколько раз приходил навестить меня брат. Он все переживал, что неизвестно, что с братом-летчиком, меня отправляют на передовую, и непонятно, что с мамой будет. Он считал, что его самого на передовую не отправят. Но через несколько дней им, совершенно необученным, дали винтовки и отправили на фронт. Гриша погиб совсем быстро под Гомелем. Об этом я узнала уже позже от одного раненого, когда мы стояли под Курском.

Мама осталась с родителями жены брата. Я надеялась, что она выедет с этой семьей. Но уже потом я узнала, что маму они почему-то не взяли с собой. О ее дальнейшей судьбе мне рассказал брат-летчик Миша. Он был сбит под Чаусами и смог выпрыгнуть с парашютом. Получил касательное ранение головы. Его подобрал старичок, помог перебраться через линию фронта. Брат потом после войны ему все время помогал в благодарность за спасение.

Сразу после освобождения Могилева Миша тоже попал в город и хотел узнать, что стало с мамой. Оказалось, что мама жила в городе (на Луцполово возле кладбища) в течение года. Рядом с нами жили Николай и Настенька (та самая, которую мама чаем отпаивала). Николай сотрудничал с партизанами. Он смог сделать маме «русский»

паспорт, и у нее дома была явочная квартира. А потом к маме вселили на постой какую-то женщину. Каким-то образом эта женщина узнала, что мама еврейка, и выдала ее фашистам. Тогда арестовали и маму, и Николая. Это все рассказала брату Настя. Брат нашел эту женщину, оказалась, что она работала машинисткой в пединституте. Он с товарищем пошел к ней на работу, увидел там что-то из маминых вещей. Сказал: «Пулю на тебя жалко». Ударил ее рукояткой нагана и сдал органам. Что с ней стало потом — неизвестно.

В 1941 году, в сентябре, я попала в окружение под Орлом. Дело было так. Мы отступили с госпиталем за два дня до сдачи Могилева. Миша передал, что хочет со мной встретиться в Орле. Я попросила разрешение, и меня направили из госпиталя с каким-то поручением в Орловское сануправление. Мы ждали всю ночь гражданский поезд на Орел. Я сидела с молодым лейтенантом. Перекусывали, разговаривали. Вдруг началась бомбежка, и бомба попала в соседний вагон. Меня оглушило, контузило, и я стояла совершенно обезумевшая и растерянная. Я выскочила без шинели, только планшетку успела с собой взять. Было это 9 сентября, уже довольно холодно. А кругом низко, на уровне столбов, летали самолеты и свистели пули. Подбежал пожилой раненый военный с перевязанной рукой и закричал на белорусском языке: «Чаго ты стаіш?!» Взял меня за руку, оттащил от железной дороги. Постепенно люди разошлись, не осталось ни гражданских, ни военных. А я не знала, что мне делать.

Уже к вечеру подошла к какому-то дому. Постучалась, попросилась переночевать. Женщина сразу спросила: «А ты жать умеешь?» Я говорю,

что умею. Тогда она предложила мне сжать полосу взамен на ночевку. Я согласилась, но попросила переодеться. Женщина принесла деревенскую сподницу (юбку) на резинке и кофту. Свою одежду я сняла, а документы сожгла.

Начала жать, хозяйка посмотрела, что все у меня получается, и пошла корову доить. А я думаю: «Зачем мне здесь ночевать? Надо отсюда уходить, пока не поздно». Пошла к железной дороге, навстречу старичок-железнодорожник. Спросила, когда пойдет эшелон на Курск. Старичок сказал, что вся дорога разрушена. И указал мне дорогу: «К утру придешь». Ну, я и пошла. Страшно было. Иду, от каждого шороха вздрагиваю. На рассвете вижу табличку «Курск Сортировочный». На карауле солдат стоят. Я спросила, как мне в мою часть пройти. А он винтовку на меня наставил, думал, что я диверсантка. Отвел он меня к дежурному. Я все ему рассказала, он связался с госпиталем, а там меня уже «похоронили». Вернули меня в госпиталь и две недели

*Галина
Брудолей с
пациентами
госпиталя,
начало
1940-е гг.*



обхаживали: в себя приводили после контузии и психологического шока.

У нас были очень хорошие хирурги: Гольштейн, Легенченко, Скулович, многие другие. Когда мы стояли под Курском, к нам прикомандировали операционную сестру, которую все сестры невзлюбили, потому что она очень требовательной была. А я все присматривалась, как она работает. Ее на фронт с нами не взяли, потому что пожилая очень была, отправили в тыл. Встал вопрос, кого поставить на ее место у стерильного стола. А эта женщина сказала: «Вот эта девочка подойдет». А я и выглядела ребенком. С тех пор я стала операционной сестрой и так всю войну и прошла. Как фронт двигался, так и мы за ним.

Тяжело было, когда отступали, а в конце 1943 года стали города освобождать, психологически стало легче. Под бомбежками часто приходилось бывать. Операция идет, а кругом взрывы, на тебя осколки летят. Круглые сутки иногда приходилось стоять у операционного стола, бывало, что хирург хочет помочиться, так мы отворачивались, а санитар подавал горшок. Погибнуть можно было много раз, но мой ангел меня спасал. Выскочу из вагона, а тут бомба попадает как раз туда. Без вещей оставалась много раз. Один раз стояли на постое в одном

*Галина
Брудолей
с подругой
Машей
Каган,
1940-е гг.*



доме. Я была на работе, а бомба попала прямо в этот дом на мою постель.

Крови донорской не было, так кровь сдавали сестры и врачи. Потом кровь появилась, и меня назначили еще и старшей по переливанию крови. Часто света не было, так по очереди крутили динамо-машину, чтобы лампочки горели.

Был один случай, когда ранило одного большого начальника и его не могли доставить в госпиталь. Нашу бригаду на «У-2» отправили к нему. Операцию делали чуть ли не на земле. Опасность заключалась еще и в том, что у него осколок сидел возле бедренной артерии. Чуть поверни неудачно, и все, умрет. Хирургом был невысокого роста еврей из Минска, Исаак Яковлевич Кристал. Мы с ним всю войну прошли. Прекрасный был специалист. Но он пленных отказывался оперировать, потому что его семья погибла. А вообще-то мы слишком, по-моему, гуманными были: и лечили немцев так же, как своих, и кормили.

Один раз операцию проводил главный хирург Красной Армии Бурденко. Специалист высочайшего класса, специализировался на нейрохирургии. Он работал очень быстро, ассистировавшие ему два врача и две сестры (и я в том числе) еле успевали. Я первый раз видела, чтобы так работали руки. Он сам был после инсульта, говорить не мог, только рычал, но врачи понимали, что ему нужно.

Опыт я, конечно, получила на войне огромный. Чего только не повидала: и операций всяких, и гангрену газовую.

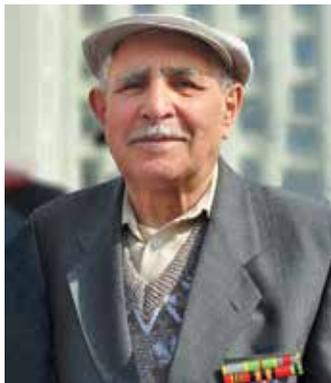
А окончила я войну на Дальнем Востоке, когда нас направили на войну с Японией. Ой, как мы переживали: такую войну пережили, и снова на

фронт. С этим периодом связана такая история. Приехал эшелон на какой-то полустанок, я смотрю: надписи на еврейском. Я Сандлера спрашиваю, где мы находимся, а он говорит, что в Биробиджан приехали. Там меня демобилизовали, и в 1946 году я вернулась в Могилев.

Вайман Михаил Исаакович, 1926 г. р.

Я родился в Витебске, но в 1930 году, когда мне было четыре года, мы переехали в Могилев.

Мама, Бейля Михелевна Миндлина, 1894 г. р., была родом из деревни Колышки. У нее было два брата и четыре сестры. Они остались сиротами, когда маме было 13 лет. Старший брат Лева (или Ирма, точно не помню) погиб в Гражданскую войну на Перекопе. Дядя Иосиф стал артистом, даже знаменитым артистом, режиссером еврейского театра. В каком-то фильме играл до войны.



Тетя Хася, как и мама, была грамотная, работала учителем и шила очень хорошо. С мамой она переписывалась на идише. Писали такие письма!

Папин папа был сапожником, а папина мама занималась мелкой торговлей. Краем уха слышал, что дед попал под трамвай в Витебске. Больше о нем мне ничего не известно.

У папы тоже была большая семья. У него было четыре брата и три сестры: Хая, Ганча, Сара-Лейа. Самый старший из братьев, Лева, уехал в Америку. Следующий брат Авром был заготовщиком в Черновцах. Он был классный мастер по обувным

колодкам. Следующим был папа, а потом Гирсл. Они в эвакуацию успели уехать в город Кора-Балты в Киргизии. Там были два брата и две сестры.

Знаю, что папа, Ицка Шефтелевич Вайман, 1898 г. р., рано ушел из дома, лет в 13 или 14. Пошел зарабатывать себе на кусок хлеба. Но он сапожником не стал. Сапожная работа более нежная, более квалифицированная. Стал шорником, изготавливал упряжь для лошадей. Где он учился, я не знаю. Что он, будет мне докладывать? А сам я ему вопросы такие не задавал.

Берта Миндлина (внизу слева), мама Михаила Ваймана, с подругами, местечко Кольчики, 1910-е гг.

Папа переехал в Могилев с целой компанией шорников-евреев: Сололихин, Гандин, Тресков, Любчик. В Витебске была шорная артель, где работали в основном евреи. И всю артель из Витебска, всех этих классных специалистов, перевели сюда, в Могилев, и на базе этой шорной артели и создали шорную фабрику.

Самым главным был Хаим Рубинштейн. Это был самый сильный специалист. Он делал



выездную упряжь с разными кисточками, плетеночками. Такую не каждый мог сделать. Во время сталинских репрессий его посадили за то, что где-то в колхозе хомут натер лошади холку.

Здание шорной артели и теперь стоит на улице Мигая за домом из красного кирпича, где художественная школа. Там изготавливали для армии хомуты, седла, все что нужно для упряжи. Цех деревянных деталей назывался клещевой (ведь там не все детали были мягкими, есть жесткая часть, которая обшивается кожей) и располагался где-то на Подниколье. Это был очень престижный цех, зарабатывали хорошо. Евреи на шорной фабрике были технологами, мастерами, а рабочих набирали из деревень. Папа и в цеху работал, и снабженцем был, и даже председателем фабричного комитета.

В Могилеве родители купили дом на 2-м Крутом переулке. В 1939 или 1940 году наняли

Дом на 2-м Крутом переулке, где поселилась семья Исаака Ваймана после переезда из Витебска в Могилев



печника. Печник, еврей, хороший мастер, был беженцем из Польши. Достали кафель и переделали русскую печку и голландку.

Помню, что печник все спорил с папой. Папа говорил, что идиш для жизни не нужен, и хорошо, что дети не знают его. А польский еврей доказывал, что раз мы евреи, мы должны знать свой язык. Тогда мне казалось, что был папа прав, а с годами я понял, что был прав тот польский еврей. Свой язык надо знать.

Я учился в русской школе № 4, в переулке Мигая. О том, чтобы учиться в еврейской школе, и речи не шло. Я и идиш-то толком не знал.

Ученик я был не ахти какой хороший. Меня отдали в ремесленное училище на Плеханова (бывшее еврейское училище). Там готовили разных специалистов: кузнецов, литейщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей и модельщиков. Выбирали самых крепких ребят в кузнецы, литейщики, которые поменьше — в слесари, токари, а мелюзгу — в модельщики.

Здание на ул. Мигая, где размещалась до войны шорная фабрика



Мастер модельной группы взял пару деталей, взял чертежи и провел лекцию о том, что это за профессия и какая она востребованная, интересная, интеллигентная. Объяснил, что жизнь любой детали начинается с отливок, с модели. Что после модели делается форма, потом форма заливается, а уже потом токари и слесари ее обрабатывают. Тогда уже с удовольствием мы пошли на модельщиков. Когда я пришел домой и сказал, что записался на модельщика, мама спросила: «Так ты там тоже будешь самолетики делать?» (я ходил до войны в Дом пионеров в авиакружок). Ну, я, как мог, объяснил. Но мама не поняла ничего. Она специально пошла в училище и стала мастера расспрашивать про эту специальность, что это за работа такая. Так он сказал: «Мадам Вайман, не волнуйтесь, не переживайте, это работа несколько не хуже, чем вся остальная. А даже, может, и лучше».

Папе тоже было интересно, что это за работа такая. И он пошел к механику на фабрике и стал

Здание училища на ул. Плеханова (бывшее еврейское училище), где учился на модельщика Михаил Вайман



его спрашивать. Тот сказал: «О, это работа очень хорошая. Если твоему сыну понравится стружка». Это было в 1940 году, мне было 14 лет. В училище нас одевали с ног до головы: парадная форма, повседневная, рабочая. Кормили два раза в день. И кроме профессии, преподавали математику, физику, черчение.

Мы жили в том доме, который купили. Отремонтировали его. Свиной растили. Огорода не было, но от шорной фабрики в районе авторемонтного завода у нас был участок, и мы там сеяли несколько соток картошки.

Когда в 1938 году поломали собор Святого Иосифа, большевики додумались свозить в овраг недалеко от нас все, что от него осталось — большие глыбы из кирпичей и камней. Почти до самого дома овраг завалили.

В то время недалеко от нашего дома наверх в центр города к двухэтажному кирпичному дому, который называли «военным», вела деревянная лестница. По этой лестнице иногда водили солдат в баню (баня стояла на соседнем, 1-м Крутом переулке, и ее снесло наводнением 1942 года. — *Ред.*). Ночью спишь и слышишь: тук, тук, тук — солдаты бегут. Солдаты располагались в воинской части на улице Ленинской — там, где сейчас музыкальное училище.

Мы тоже ходили в эту баню мыться. Там было одно отделение. Один день мужчины мылись, другой — женщины. Но чаще мы ходили в двухэтажную баню Герца (так ее называли) в Пожарном переулке. Она была главная, находилась за нынешним клубом бокса (бывшая Купеческая синагога. — *Ред.*). Потом там построили жилой дом.

За нашим домом (в сторону Дубровенки) шел огород-сад, и там стоял большой дом, где жил Лева Медников. Мы туда ходили кататься с горки. Даже на конях можно было к милиции, к кинотеатру «Чырвоная Зорка» подняться. Но как-то сильный дождь там все размыл, сделали лестницу, и на конях уже ездить было нельзя.

Ходили часто на Вал — любимое место отдыха могилевчан. Там была площадка, шикарный ресторан, летний театр, огромные деревья, обзорная площадка, очень культурно было. Танцы, аттракционы, качели-карусели. На площади было четыре дома. Самый главный дом — губернаторскую резиденцию — отдали под Дом пионеров. В здании губернского правления до войны была типография. С правой стороны еще два дома было. В одном сейчас музей. Остальные разрушены. На площади этой рос молодой сосонник. И на дорожке стоял памятник, посвященный войне с Наполеоном. Стояли две наполеоновские пушки, и было

Дом пионеров перед войной размещался в бывшем доме губернатора на Валу. Фото 1930-х гг.



написано, какие войска принимали участие в войне. В землю был закопан ствол старинной пушки, а на нем — медный (или бронзовый) круг — солнечные часы. А дальше стояла ратуша. Ее называли каланчой. И там по верху ходил пожарник. С каланчи все Луполово просматривалось. Я ее еще после войны помню, довольно нормальную. Ее снесли и на фундаменте колесо обозрения поставили. Сейчас опять восстановили.

Еще мы ходили в костел. В воскресенье проходили службы. Никто нас никуда не выгонял. Бывало, летом покупаемся в Днепре, возвращаемся домой, слышим — орган играет. Зайдем, послушаем. Красиво там все было!

По улице Первомайской ходил автобус, но очень редко. В основном ездили извозчики. Каменная арка, там, где сейчас на памятной доске отмечено, какие войска принимали участие в освобождении Могилева, была входными дверями в цирк. Рядом — стоянка извозчиков. Стояло пять-десять экипажей... Помню, мы с мамой поехали на вокзал дядю Иосифа встречать, а он раньше приехал, взял извозчика. Мама увидела из окна автобуса. Закричала: «Эй!» Но кто тебе автобус остановит?

Был такой случай. Как-то зимой мама купила на Первомайской улице ведра два или три мелкой картошки, целый мешок. Мы на саночки мешок положили, и я помогал тянуть. Стали спускаться по Буличевой горе (от школы № 1 крутой спуск к Дубровенке). Там и на машинах, и на подводах ездили. А дети кругом на санках катаются. Мама говорит: «Давай и ты тоже». Я лег на этот мешок, а он тяжелый — как меня понесло! Я испугался, оттолкнул его от себя. Он — вниз, пробил лед... и в воду. Мама меня не ругала, ничего. Пошла,

позвала квартирантку (какие-то женщины у нас жили) и вытащили эту картошку. Мне тогда лет десять было.

Большие хлопцы в лапту играли. А мы, дети — в чижика. Игрушек особых не было. Колесики катали, обручи.

Голодными мы не были, всегда было что покушать. Уже после войны мама пекла еврейские блюда: имберлах, гоменташен. Вспоминали еврейские праздники. До войны это не было принято, но обрезание делали. Папа ведь был членом партии, а религия — «опиум для народа». И вообще в доме о религии не вспоминали. Папа даже в синагогу не заходил, а мне не с кем было ходить. Недалеко, на улице Садовой, на спуске к Дубровенке, была синагога. Большой дом бревенчатый, не покрашенный, не шалеванный, неприветливый. С двускатной крышей. Внутрь я не заходил. Про эту синагогу я знал, так как ходил к своему другу Гусаревичу, который жил на горе над синагогой. Знаю, что на нашей горе, где жили Зеликовы, после войны старики собирались на миньян. Папа моего друга туда ходил. Но они не только помолиться туда ходили, но и просто ради общения. По рубчику скинутся, пообщаются, по чарочке возьмут.

В соборе Святого Иосифа был шикарный исторический музей. Там много было экспонатов, красивые картины. Запомнился маятник, как в Ленинграде в Исаакиевском соборе. Маятник был зацеплен за центральный купол, демонстрировал вращение земли. Нас пускали в музей бесплатно. Жалко было, когда его снесли. Я помню, как выгружали экспонаты и в цирк свозили. Там хаос какой-то был.

А ведь цирк функционировал не круглый год, как в Минске. Он работал только месяц-два, осенью в основном, а так был закрыт. Он был нормальный, стационарный, но неотопливаемый. Где ты отопишь такое огромное здание? Подсобки были, конюшни. У нас даже квартиранты жили, когда цирк приезжал. Жил какой-то музыкант с семьей, женщина жила, которая ухаживала за собаками. Так она меня без билета пропускала. Я заскочу через ворота на конюшню, а контрамарку продам — деньги на мороженое есть.

Цирк — это всегда интересно! Особенно борьба. У-у, мужики были любителями на борьбу посмотреть. Не столько ходили на представления, сколько на борьбу посмотреть. Самого Поддубного я видел, между прочим. В начале представления парад был. Каждого вызывали по фамилии, имени-отчеству, сколько лет ему, какой город он представляет. Каждый борец был приписан к какому-то городу: Москва, Киев. Музыка играла. А потом, когда все стояли по кругу, объявили:

*Здание
могилевского
цирка на
ул. Перво-
майской*



«Неоднократный чемпион мира Иван Максимович Поддубный!» Он выходит, и все: «О-о-о!» Но он уже не тот был... Ну, они там договаривались, это же представление было, не настоящий поединок. Помню еще, мама меня брала, когда выступал Дуров с животными. Поезд у него там шел, обезьянки, дрессированные собачки. Цирк сгорел во время войны.

А кроме того, был в Могилеве, как его называли, революционный музей, около школы № 3 на Ленинской улице. Мы и туда ходили. Там были панорамы: и революционные, и о том, как погромы еврейские устраивали.

Помню, когда началась война, около «Чырвонай Зорки» у динамика стояли люди, все такие хмурые... Было такое воспитание: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы». Никакая война нам не страшна, врага разобьем малой силой на чужой территории. И как-то воспринимали эту войну без особой паники. Мы же непобедимые...

*Кинотеатр
«Чырвоная
Зорка» на
ул. Перво-
майской,
Могилев,
1930-е гг.*



Я тогда был учеником училища, и нас посылали копать противотанковые рвы в районе бани на Шелковой фабрике, где дорога идет на Ямницу. Конечно, мы сами не копали, копали мужики, а мы там уже помогали землю разравнивать, разбрасывать.

Уже в Могилев беженцы приходили со стороны Минска. Полгорода беженцев было. Военские части. Движение было — страшное дело.

Я даже воздушный бой видел над территорией шорной фабрики... Но что наш самолет против «Мессершмитта»?

Первую бомбу бросили в Могилеве в районе улицы Вербовой возле Дубровенки. Тогда сразу по городу паника поднялась. Собрались работники швейной фабрики и поехали в сторону деревни Лыково. Там наша квартирантка жила. Мы туда приехали, и нас поселили в сарай. Ночь или две переночевали и домой вернулись. Немножко успокоились.

В училище дали команду: «Будем эвакуироваться!» Папа, мама с чистой совестью меня отпустили: «Езжай!» И где-то 2 июля мы пошли на вокзал пешком, нас погрузили в несколько вагонов. И поехали. Никаких вещей с собой не было. В Калугу заехали, потом в город Пензу. Выгрузили, повели в какой-то темный барак, покормили супом с какими-то темными галушками.

Следующая остановка была недалеко от Ижевска в Удмуртии, город Мозга, станция Сединская. Там была построена новая школа. Мы туда все выгрузились, переночевали. Директор, завуч дали телеграмму в Москву: «Куда ехать?» Ответили — в Новосибирск. Погрузились и поехали в Новосибирск. Район Кривошеково. Светлое,

красивое здание училища. Одну ночь переночевали. Слесарей, токарей оставили в Новосибирске. А тех, кто связан с литейным производством, отправили в Гурьевск — километров 200 от Новосибирска. Там было училище. Нас приняли хорошо, покормили, поселили.

Из Могилева, наверное, месяц ехали. Кое-кто удрал, якобы к родителям. Мы же не военно-обязанные были. Я никуда не бегал. Везли, я ехал. Привезли, учили, кормили, выпустили.

Сестра Рива написала письмо в Москву, в Министерство трудовых резервов, что брат был эвакуирован с училищем. Сообщите, куда? И сообщили.

Как-то меня позвали: «Мишка, тебе там в канцелярии письмо пришло!» Какое письмо? Откуда? Что? Думал, что подкололи... Но пошел. Точно, письмо. И-и-и! Событие! Это было первое

Исаак Вайман (слева) на заседании месткома мастерской кокандского горпрома, Коканд, 1943 г.



письмо от родных. Я тут же написал ответ, отправил.

Мама, папа, Рива были в эвакуации в Коканде. Мама пошла зарабатывать хлебную карточку в портняжную мастерскую. Сестра Рива продолжила учебу в институте. Папа работал в какой-то мастерской мыловаром.

Переписывались с ними. А уже в 1943 году, где-то в октябре месяце, мне разрешили поехать в гости. Я работал на заводе. Тогда надо было как увольнительную пропуск на право проезда. Мне выдали на заводе характеристику, что я хороший. Купил билет, поехал через Турксиб. Долго ехал. Пересадки были в Новосибирске, Ташкенте.

Конечно, хорошо меня приняли. Надо было ехать назад, а мне так не хочется. Так я папе говорю: «Может, мне остаться?» Он говорит: «Не дури головы!» И я поехал.

Весь 1943 и 1944 год работал на заводе. И только в конце войны, в начале 1945 года, меня призвали. В запасной полк, город Орск в Сибири. Учились воевать, по-пластунски ползать, окапываться. Готовили маршевую роту.

День Победы я отмечал в запасном полку. Такая была радость. Война кончилась! Но в конце мая — начале июня: «Выходи строиться!» И — шагом марш на вокзал. Куда едем? Никто там не разго-

*Михаил
Вайман с
сестрой Ривой,
Коканд, 1943 г.*



варивал, кто там будет с нами разговаривать? Погрузили — и на восток. А у меня были почтовые карточки, так я на каждой крупной станции писал домой письма: «У меня все нормально. Едем на восток». В Улан-Уде нас выгрузили, помыли в бане. Ночью привезли в Монголию и пешком погнали. Пришли в какой-то палаточный городок. Я карточку написал и передал нашему проводнику: «Будешь на территории Союза, опусти в почтовый ящик». Он письмо мое взял.

А цензура была строжайшая. Моя семья ни одного письма не получила от меня. Стали волноваться. Послали в Гурьевск запрос, что сын жил в Гурьевске, ушел в армию, долго нет от него писем, если остались друзья, просим сообщить. А у меня там девка хорошая осталась. Ей письмо передали, и она написала, что она тоже никаких сведений от меня не имеет. И просила сообщить, если родители что-то получают.

*Михаил
Вайман,
Манчжурия,
1945 г.*

А там гоняли нас, как положено. Жара была. Окапывались, по-пластунски ползали, учения были. Знаю, что в других частях проводили митинги, объясняли, что вступаем в войну с Японией. У нас никто ничего не говорил. Пришли пешком в район Халхин-Гола. Там в 1937 году были боевые действия с Японией. Все было перерыто. Столько разрушенной техники стояло, что сразу было видно, что война прошла.



Ночью нас поселили на какой-то заставе. А когда рассвело, часов в шесть, подняли всех — и вперед. Куда? Что? Опять никто ничего не объясняет. Нам повезло. На японской заставе почему-то никого не было. А нас цепью развернули, и идем час, два, три, четыре, пять. Уже солнце поднялось. Жара такая. А у нас скатка шинели, каска, противогаз, лопата, патронташ, карабин. Попалась нам воронка от бомбы, полная воды, и мы кинулись касками пить эту воду, потому что изнемогали от жары.

Техники у нас мало было, только «сорокапятки». Когда прошли город Салунь, соединились с танковой частью, танки пошли вперед, а мы за ними следом. Японского сопротивления не было. Там, где шли вдоль Амура 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, было большое сопротивление. Мы проходили места недавних сражений, где были японские пушки и наши танки подбитые. Дальше трупы лошадей раздутые валялись.

*Михаил
Вайман с
друзьями-со-
служивца-
ми, Дальний
Восток,
1949 г.*



Короче, техника шла впереди, а мы, пехота, — сзади. Повезло мне.

Когда мы шли уже по Маньчжурии, я повернул ногу. Взял палку и ковыляю. Офицер, по-моему, замполит части, говорит: «Вот там санитарная машина. Иди туда». Там нас собрали человек пять или шесть и машиной в госпиталь. А часть пошла дальше. Куда пошла? А кто его знает.

Госпиталь находился в городе Тан-Нань. Там я находился неделю. Потом отправили в комендантский взвод, на склады. Что там надо было охранять, понятия не имею. Оборвались мы к тому времени так, что пришлось с японских складов воровать японскую одежду. В ней и ходили. Потом склады расформировали. Нам дали документы и отправили на вокзал. Было нас человек семь-восемь. Один говорит, что у него знакомый офицер из части недалеко. «Давайте туда попросимся. Может, заберут». И нас взяли. Это была артиллерийская бригада отдела Главного командования. Мы попали в штаб, охраняли территорию, а через некоторое время нас отправили по частям.

Я попал в артиллерийский полк 122-миллиметровых пушек. Стал разведчиком-наблюдателем. Что входило в обязанности разведчиков? Когда пушки стреляют, я с наблюдательного пункта должен был корректировать: недолет, перелет. А потом меня отправили в школу сержантов по этой специальности. Я там хорошо учился, даже был отличником боевой и политической подготовки. Потом меня взяли в вычислители. Ну, вроде получалось у меня неплохо. Но тут пришла команда, и расформировали всю эту часть. И школу в том числе. Нас повезли в порт. Погрузили на корабли и повезли. И опять, куда везут, что — ничего не

знаем. Только вышли в море, начал нас колошматить шторм. Внутренние палубы были загружены соей, рисом, а на верхних были мы. Начало от качки тошнить. Ночь прошла, и мы приехали во Владивосток. Потом — на вокзал, в вагоны, и поехали на запад. «Старики» начали нарушать дисциплину, воровать. Старший поезда дал телеграмму в Москву: дайте, ради Б-га, адрес, я их выгружу. И мы заехали в Амурскую область в г. Свободный. Несколько дней побыли, а потом всех, кто был в Корею — в вагоны и на восток. Нужно было переправиться через огромный Амур. Так и поехали в сторону перевала Сихоте-Алинь на север. Где-то станция не принимала, и мы остановились. А малины кругом! Мы как высыпали ее собирать...

Приехали мы в Совгавань, а там японский лагерь пленных. Загорожено все, вышки, провода. Нас туда не пускают: какую-то дезинфекцию сделали и все проветривали. И мы должны были спать на улице. Я смотрю, вроде все чисто, гладенько. Шинель постелил, чувствую — камень. Смотрю и не вижу. Утром поднимаюсь и иду в санчасть. Говорю, что как стемнело, я ничего не вижу. Врач, ничего не говоря, дает мне ложку рыбьего жира. Я пару раз к нему ходил, и зрение восстановилось. Потом нас заселили в этот японский лагерь и распределили на работы кого куда.

А я смотрю, там небольшой литейный цех. Они, видно, там сами формуют, сами плавят, сами заливают, сами выбирают. Я спрашиваю: «А модельчики у вас есть?» Отвечают: «Конечно, есть!» Я пошел, нашел этих модельщиков. Говорю: «Я тоже работал модельщиком». А они: «Слушай, давай к нам. У нас столько работы, мы не

справляемся». Они связались с начальством и в заявке: «Вайман пойдет в распоряжение начальника литейного цеха». Мне дали фартук, ящик с инструментом, верстак и пару чертежей. Хлопцы-солдаты ко мне приходили, говорили: «Ой, какой молодец, какая у тебя работа культурная». Завидовали мне. Но недолго поработали. Опять команда: «Выходи строиться». Вокзал и поехали. Завезли под Комсомольск-на-Амуре, в тайгу лес валить. А зима, снега по пояс. Мы валили, штабелевали, подходили лесовозы, грузили их. Так целую зиму. Родители тогда уже были в Могилеве.

Потом нас завезли почему-то в Комсомольск-на-Амуре. Приехали в город, увидели кинотеатр. «Пустите нас в кино!» Выходит директор кинотеатра, говорит: «Ребята, ну не будем шуметь, когда будут свободные места, я вас пропущу». А сам позвонил в комендатуру. Там подняли тревогу, прислали солдат... и нас на гауптвахту. Обстригли. Вот такая была история.

А потом опять на вокзал. Мне как раз посылку прислали из дома. Почтальон принес прямо на вокзал. Я ее открыл, и тут же хлопцы — раз, раз — и все расхватали. Мы поехали во Владивосток, где я дослужил до конца. Отслужил почти шесть лет. На следующий день после 7 ноября, праздника революции, нас загрузили в телятники и отправили вместе с демобилизованными моряками из Порт-Артура, которые по 7—8 лет отслужили. Многие на фронте побывали, с немцами, с японцами воевали. А их в декабре в телятники. Бегали, какие-то щепки собирали, угли воровали, чтобы протопить, согреться. Я уже был не военный и где-то в Сибири купил билет на почтовый поезд и поехал.

Домой приехал 5 декабря 1950 года. Нулевая температура, серое все, туман стоит. В 1941 уехал в июне месяце, в декабре 1950 вернулся. Около десяти лет меня не было. Уехал пацаном, вернулся в 25. Хорошо? Самые такие лучшие годы пропали. Через год женился, надо было жить, устроился на завод «Строммашина». Всех модельщиков в армию забрали, потому за меня ухватились, как за горячий пирожок. 48 лет проработал.

**Войтенко (Радзиковская) Александра Ивановна,
1935 г. р.**



До войны мы жили в Могилеве, в районе современной улицы Романова, недалеко от «Серого дома». Наша улица называлась Кавалерийская, и там были только частные дома. Я хоть маленькая была, но кое-что помню.

В начале и конце войны, когда шли бои, прятались в землянке на огороде. Там был ров и в нем вырыли углубление. Застелили его сеном, поставили по углам подпорки и, чтобы не сыпалась земля, укрепили какие-то одеяла и покрывала. Там было много таких землянок, в которые все прятались во время бомбежек, особенно ночью.

Половину жителей на нашей улице выселили, кого — в гетто, кого — в другие дома. В наш дом переселили соседскую семью — тетю Дусю с двумя детьми. В освободившихся домах жили немцы, которые ходили в обычной коричневой

форме, только в двух домах подальше от нас жили офицеры, которые ходили в черном. Это были эсэсовцы. Их боялись все.

В нашей семье было трое детей: я и два братика (трех лет и малыш 1941 г. р.). На первый год хватило своих запасов еды. У нас был огород, картошка. Ходили в Буйничи, перекапывали там картофельное колхозное поле. Потом, чтобы прокормить детей, мама носила свои вещи на Быховский базар и там меняла их на продукты. Нас никто не грабил. Живности у нас и до войны не было никакой.

Маму и всех соседок: тетю Дуню, тетю Маню, тетю Настю — немцы сгоняли с лопатами в концлагерь на Луполово закапывать трупы. Они говорили, что когда приходили на следующий день, то еще шевелилась земля. Их гоняли и еще на какие-то работы. А я сидела дома и качала люльку, смотрела за малышами.

*Александра
Войтенко
с мамой и
братом,
Могилев,
1939 г.*



Перед самым концом войны на станции Могилев-2 сошел с рельсов состав с продуктами. Все с нашей улицы ходили туда собирать рассыпанные сахар, рожки. Потом все это перебирали, промывали и варили. Сахар отстаивали, сладкой водой еду поливали.

Мама рассказывала, что на нашей улице жила семья с тремя детьми. Отец у них был партизан. Полицаи всю его семью арестовали. Мама дружила с его женой Шурой и ходила к тюрьме что-то ей передавать. Сначала Шура выглядывала, а потом ее не стало. Мама узнала, что расстреляли и мать, и детей.

Была еще очень красивая женщина-еврейка по имени Мария. Она жила у кого-то на квартире. Мария была не местной, женой офицера, в гетто ее не забирали. Но все же кто-то узнал, что она еврейка, донес, и ее забрали. Конечно, Мария не вернулась.

Недалеко от нас жила женщина Вера, которая во время войны прятала двух маленьких еврейских детей: девочку Иду и мальчика. Их маму Фиру и бабушку забрали, наверное, в гетто. Когда их забирали, Вера спрятала детей в такую яму за домами, из которой раньше брали глину. Дети жили у нее всю войну. Никто не знал об этом. А сразу после войны эти дети пошли в школу и учились какое-то время со мной и братом. Потом кто-то из родственников вернулся и их забрал. Муж Веры погиб на войне. Когда Вера заболела, эти родственники детей забрали ее к себе.

Как только окончилась война, в здании, где во время войны было гестапо, открылась школа. Потом там был педтехникум, интернат, а теперь лицей.

Воронова (Шушкевич) Анна Феликсовна, 1923 г. р.

Я родилась в деревне Застенки Пашковского сельсовета. Деревня была небольшая, домов 15. В нашей деревне сначала одни поляки жили. Когда хутора свозили и организовывали колхозы, деревня выросла.

Наша семья — это мама, папа, я, старшая сестра, старший брат и младший брат. Родители были крестьянами. Жили мы до войны плохо. Мало зарабатывали, очень бедно жили.

Старший брат до войны окончил землеустроительный техникум и уехал в Днепропетровск. Старшая сестра, Камелия Феликсовна, 1910 г. р., была уже замужем. Ее муж Франц был из детдомовцев. Он был дирижером Московского академического театра. Его арестовали в 1937 году за то, что не написал в анкете об аресте в 1936 года своего брата (он и сам об этом не знал). Поместили в Тамбовскую тюрьму и вскоре расстреляли. Квартиру опечатали, все забрали, сестру с дочкой выгнали. Потом в 1990-х годах по обращению моего мужа Франца реабилитировали. Долго не было сообщений о решении, и я пошла в обком партии к знакомому, чтобы он показал мне решение и дело. Решение он дал, а дело не показал. Сказал, что если я его прочту, то упаду замертво. А он был такой ярый коммунист!

После ареста мужа сестра с 4-летней дочкой Инессой приехала к нам и устроилась работать в Могилеве на детской молочной кухне. Я ходила в школу в Пашково. В 30-х годах арестовали



директора нашей школы Роговского. Тогда были какие-то гонения на католиков.

Семья наша была религиозная, особенно мама. Костел был закрыт, потому молились дома. Ксендза не было. Дома были книги, Библия на русском языке. Дома говорили на смеси русского и белорусского. Старшие брат и сестра знали польский хорошо, а я только понимаю по-польски, но не говорю. После войны, когда я окончила педтехникум и пединститут, преподавала в школе русский язык и литературу. От нас требовали, чтобы мы вели антирелигиозную пропаганду, проводили беседы против пасхи и рождества, забирали у детей крашенные яички, если они принесут в школу. Я, конечно, этого не делала, но директор относился к этому спокойно.

В 1941 году я окончила 10 классов могилевской школы № 1. 22 июня мы шли по городу, увидели, что люди собрались на улице возле черного рупора, что висел на дереве. Подошли. Услышали, как Левитан сказал об объявлении войны. Я тогда

Колонна из еврейского гетто конвоируется на работы по ул. Первомайской. Фото августа 1941 г. из Федерального архива Германии



жила с сестрой. Снимали угол на Первомайской. Через некоторое время кухню, где работала сестра, закрыли, и мы вернулись с сестрой в деревню к родителям.

В школе со мной училось много евреев и мы очень дружили: Саша Эмдин, Гриша Дымов, Яков Болотовский, Доба Воронова. Моя подруга Доба была очень хорошей девушкой из очень простой семьи. В самом начале войны Доба жила у нас в деревне, но очень недолго. Потом она ушла туда, где были родители. Думаю, что погибла. Большинство моих знакомых евреев погибли.

Я видела, как евреев гнали на работы в деревянных колодках, изможденных, со звездами на спине и на груди. В основном, там были взрослые люди. Гнали с собаками.

Сначала у нас были запасы, корова, еще можно было как-то жить. Ночью корову мы прятали в сарае. Однажды утром обнаружили, что ее увели. Кто? Поди разбери, свои, партизаны или бандиты.

Ночью под видом партизан стали приходить мужики с красными ленточками на шапках.

Оккупанты в лесах под Могилевом. Фото июля-августа 1941 г. из фондовФедерального архива Германии



Забирали, что хотели. Но с партизанами сотрудничали. Через сестру доставали медикаменты, передавали разные сведения.

В 1942 стали голодать. Было очень много вшей.

В доме была русская печь. Мама вынула над ней доски на чердак, чтобы если кто придет, я могла туда быстро спрятаться. Там я сначала пряталась во время облав.

Страшно было. Приехал как-то немец за сеном на телеге. Партизаны убили его. Мы, все жители деревни, бежали в лес. Как это обычно бывало, приехали каратели. Подожгли деревню с двух концов и уехали. К счастью, ветра не было, и обгорели только два крайних дома. Деревня уцелела.

В деревне были староста и один местный полицейский. Это были хорошие люди. Они никого не выдавали. Молодежи у нас в деревне было много. Чтобы нас не нашли и не забрали в Германию, вырыли большой погреб и там прятались. В деревне был дежурный, который наблюдал за дорогой. Мы знали, что каратели приезжают за ребятами в таких белых маскировочных комбинезонах. Однажды дежурный, который должен был дать условленный сигнал о том, что немцы едут, не успел. Я в подвал тоже не успела запрыгнуть. Залезла под пустую бочку от воды. Зашел немец: «Матка, куры, яйцо?» Мама пошла быстро найти хоть что-то съедобное, хотя у нас уже практически ничего не оставалось. А немец стоял около бочки и барабанил по ней пальцами. Если бы он толкнул эту бочку, то меня бы уже не было. Сразу бы застрелил. Так было страшно!

В конце войны перед наступлением советских войск у нас жило много немцев. Солдаты

действующей армии были неплохие. Из нашей деревни никого из ребят не угнали, было много молодых красивых девушек — никого не трогали. Кто сам хотел с ними жить, тот жил.

А вот гестаповцы были страшные.

Как-то ночью пришли какие-то мужчины из леса. То ли партизаны, то ли бандиты. Ракета. Напали немцы, убили двух партизан. Солнце. Жарко. Жир вытекал из трупов на солнце. Хоронить не успевали.

Очень страшно было: днем — немцы, ночью — партизаны или бандиты.

У нас в доме квартировал итальянец. Он в последнюю ночь перед отступлением обнял дерево и сказал: «Нам капут, а вы будете жить». Этот итальянец нас тайком подкармливал. Котелочек с едой вынесет и поставит в коридоре, чтобы другие солдаты не видели. Скорее всего, его убили.

Перед самым концом оккупации немецкие солдаты целую ночь ходили, волновались. Эти немцы уже никуда не успели уйти. Всех их положили на шоссе Могилев — Минск.

Помню, как закончилась война. После стрельбы наступило какое-то затишье. Я вышла на улицу, а там наши солдаты. Так радовались, обнимали их. Хотелось их угостить, но особенно нечем было.

После освобождения я сразу вышла замуж. Мой муж до войны окончил институт, он был учителем математики, воевал в партизанском отряде. Его жена с ребенком умерли в эвакуации от голода или болезней. После войны он в Могилеве стал работать заместителем директора колонии. Я познакомилась с ним в гостях у своей дальней родственницы в Могилеве, и он сразу же в первый

вечер, провожая меня домой, сделал предложение. Я еще подумала, что он не совсем нормальный, что говорит такое незнакомой девушке.

16 ноября 1944 года мы расписались. Ему было 34, а мне — 22. Ни у него, ни у меня ничего нет. Жили на квартире. Ночью 7 ноября его арестовали. В тот день были повальные аресты. Все описали. Как жить? Профессии нет, денег нет, к тому же я уже ждала ребенка, когда мужа взяли. Даже хотела сделать аборт, но отговорили.

Потом узнали, что на него написала анонимку женщина, которая хотела, чтобы он на ней женился. Она написала, что он работал при немцах в школе. А он действительно работал в школе, чтобы иметь «аусвайс» и выполнять задания партизан. Он был партизанским разведчиком.

Я поехала в Минск на товарняке в штаб партизанских отрядов просить за мужа партизанских командиров, которые его хорошо знали: Станкевича, Крысенкова, Белоусова. Они сами отправили сюда все необходимые документы, но все равно следствие шло полгода. Проверяли, в какой семье муж родился, где учился и все-все. Мне дали свидание с мужем, когда уже стало понятно, что его освободят. Секретарь суда жила на нашей улице. Она сказала, когда мужа будет судить трибунал, и я туда пошла. Конвоировали мужа ребята, которые были с ним в партизанах. Ребята мне сказали: «Станьте в строй и поговорите с ним до тюрьмы». Так я и шла с ним в строю заключенных. Теперь не понимаю, о чем я думала, ведь могли и в тюрьму со всеми завести. Трибунал его оправдал. Вскоре мужа освободили. Мой муж, Воронов Анатолий Филиппович, занесен в книгу «Память».

Горбачевский Николай Иванович, 1926 г. р.

Я родился в Вендрожском сельсовете. В 1931 году семья переехала в деревню Тишовка (всего 7 км от Могилева). Там ходил в школу. Четыре класса ходил в «желтую» школу (она так называлась по цвету стен). Потом перешел в пятый класс в новую школу. Помню, как перед войной, в мае, упал самолет недалеко от станции Буйниччи, и все летчики погибли. Мы выпрыгнули из окна школы и побежали смотреть. Тогда как раз женщины сажали картошку. Самолет уже был оцеплен, а все погибшие накрыты тканью. Самолет горел и стрелял — взрывались боеприпасы.



Когда война началась, отцу уже было 60 лет. Он работал на МТС механиком. Мать работала в совхозе в столовой.

У меня было две сестры, 1918 и 1923 гг. р., и два брата, 1921 и 1931 гг. р. Жили бедно. Перед войной старший брат служил в Перемышле (он там и погиб во время войны). Старшая сестра уже работала в Могилеве на конфетной фабрике.

Когда немцы пришли, они нас выгнали из деревни, мы пошли в беженцы на родину отца. Уже не помню, сколько они стояли, но когда двинулся фронт и немцы ушли, мы вернулись домой.

Во время войны жили с огорода, немцы и полицаи все съестное подбирали, домашних животных не было.

Ближе к освобождению отца и младшего брата забрали в Литву. Тогда забирали всех мужчин. Отец был хорошим бондарем, и он, когда их отпу-

стили, ходил по деревне и делал бочки. Через год, в 1944 году, вернулся домой.

А я убежал в партизанскую зону Вендрожского сельсовета. Там я жил у родственников, а мать оставалась с сестрой дома. Я попал в отряд к командиру Виталию Ивановичу Аскольченко.

Когда отряд распустили, я вернулся домой в июле 1944 года. Как только мне исполнилось 18 лет, пришла повестка в армию. Месяц нас отучили и отправили на фронт. Я попал в маршевую роту. Освобождал Волковыск, потом — в Восточную Пруссию, в город, который потом переименовали в Черняховск. 15 января 1945 года там был бой. Дали нам пачку папирос, продукты. Сначала два часа артподготовки, и пошли мы в наступление. Возле польского города Голдап меня ранили. Перебили ноги. День я пролежал в поле. На следующий день меня нашли, привезли в госпиталь, наложили гипс, и я пролежал месяц в Вильнюсе. Оттуда меня отвезли в город

Справка
о ранении
Николая
Горбачевского

Исп. № 1330
№ 1330

СПРАВКА
1149 сп

Сержант
(звание)

ГОРБАЧЕВ Николай Иванович, 1926 г.р.
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

На фронте Отечественной войны . 13 января 45

Пулное ранение лодыжки с переломом костей.

получил

по поводу чего в 3 марта находился на излечении в 37 3791
(предыдущие отряды)

из которого выбыл 4 августа

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
АРХИВ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
2 ОТДЕЛ
4
ИЗДАНИЕ 69 г.
№ 3383/А-2

Справка
№ 1330

Чусовой на Урале. Там я лежал до сентября. Меня комиссовали. Дали вторую группу инвалидности, пенсию в 72 рубля. Я ходил с палочкой.

Вернулся, выучился, поступил на завод, и началась обычная мирная жизнь.

Джалишвили Мира Романовна, 1934 г. р.

Родилась я в городе Рогачеве в 1934 году. Маму туда направили на работу после окончания Могилевского учительского института преподавать в школе. Папа после окончания строительного института был направлен на работу на какой-то объект в Днепропетровск.



Мама рассказывала, как они познакомились. Она шла с подругами, и папа был с ребятами. Папа тогда сказал грубовато: «С этого берега на тот берег добро не переплывет». Мама тогда подумала: «Ишь, какой гордык!» Но, тем не менее, он маме уже понравился, она его замечала. В Днепропетровске было принято среди молодых людей, как и в послевоенном Могилеве, дефилировать по центральной улице. Так знакомились. Папа и мама стали встречаться и очень скоро поженились. Папу звали Рувим Михайлович Шапиро. Дома звали Рома. А маму — Рахиль Григорьевна Черновая. Она уроженка города Орши. Там остались ее родители, которые погибли во время войны в гетто.

У папы рано умер от туберкулеза легких отец. У его мамы осталось четверо детей, которых она одна воспитывала.

У мамы в семье было 10 детей. Мама была самой младшей, самой любимой, которую лелеяли и ничего не давали делать, потому что считали, что она болезненная от природы. Она и не умела ничего делать. Хорошо, что она вышла замуж за такого человека, как папа, который все брал на себя.

Мамин папа Грейна работал кузнецом, бабушка Брайна, конечно, не работала: 10 детей в семье. У них в семье была замечательная традиция. Хоть родители были неграмотные, но очень умный от природы отец сказал, что каждый сын должен опекать, дать высшее образование одной из дочерей. А у них сначала родилось 5 сыновей, потом 5 дочерей. Мою маму выучил и всю жизнь поддерживал, даже после замужества, дядя Лазарь, который жил в Москве. Пока мама не окончила институт и не вышла замуж, Лазарь не женился. Он был обязан сначала устроить жизнь мамы, потом свою. И так все мальчики. Во время войны трое из пяти маминых братьев погибли на фронте.

*Рувим
Шапиро,
Рахиль и ее
брат Лазарь
Черновой,
Могилев,
1932 г.*



До войны у нас была очень счастливая семья. Родители переехали в Могилев. Купили полдома. Жили в радости, в счастье, в благополучии, во взаимопонимании. Мама преподавала в последние перед войной годы в межкраевой школе НКВД русский язык и литературу. Папа был директором маслозавода. Я была любимым ребенком, баловнем судьбы. У меня была няня Вера. Была приходящая кухарка, которая готовила еду, и приходящая прачка, которая стирала и убирала.

Мама и папа ходили в коллективы художественной самодеятельности. Мама увлекалась хоровой самодеятельностью, папа — театральной. Были тогда агитбригады. Но все довоенные снимки были уничтожены. Ничего не сохранилось. Единственный снимок с родителями мне отдала двоюродная сестра из Москвы.

Надо мной родители «дрожали». Если мама хотела меня когда-нибудь шлепнуть, то папа не давал.

*Лазарь
Черновой с
женой Хаей,
Орша,
1935 г.*



— Ты что? Ребенка трогать?!

У меня все было. Только разве что птичьего молока не хватало. Жили в довольстве. За мамой утром приезжали на машине. Отвозили на работу и привозили домой. Дома говорили на русском языке. Только когда приезжала бабушка, говорили на идиш. До войны, насколько я помню, еврейских традиций не соблюдали. Но после войны, в Пасху, мама уходила куда-то на улицу Тимирязевскую молиться.

*Рахиль
Григорьевна
Черновая
с сестрой
мужа Феней
Шапиро,
погибшей в
бобруйском
гетто с дву-
мя дочерьми,
Бобруйск,
1930 г.*

У нас был такой ритуал после войны — каждое воскресенье утром мы ходили в баню, а вечером — в театр. Даже если спектакль уже видели, смотрели повторно. До войны папа и мама тоже ходили в театр, и меня брали, а во время отпуска устраивали себе «театральный сезон». В Москве у мамы жили брат и две сестры, у которых мы останавливались. Мама любила оперу, папа — драматический и балет, но они посещали театры всех жанров.



Мама никогда не занималась бытом. Она занималась собой, любила наряжаться, любила украшения. Папа все покупал. Она даже не знала своего размера обуви, потому что все покупал отец.

Папа был членом партии, и партия распоряжалась его судьбой. Когда еще только родители переехали в Могилев, папу назначили начальником аптекоуправления, потом не было директора маслозавода, его перебросили туда, поднимать отстающий участок. Хотя папа имел строительное образование. Перед войной папа был командирован в Западную Беларусь как консультант по строительству.

Когда началась война, за мамой приехали из школы НКВД и предложили эвакуироваться. Мама сказала, что, во-первых, ее муж в командировке, во-вторых, она не собирается вообще никуда выезжать. У нее тут налажен быт, и она не приспособлена к другим условиям.

*Мира
Шапиро с ро-
дителями и
убитыми во
время войны
бабушкой
и тетей,
Могилев,
1937—
1938 гг.*



Уже бомбили Могилев, но мы сидели в городе. Вдруг ночью постучали в окно из сада. Я проснулась и очень испугалась. Мама сказала, что в окно стучать может только папа. Звонков тогда не было. Это был папа. Он был весь окровавленный. Сапог разорван, одежда разорвана. Он рассказывал, что возвращался в Могилев на служебной машине с шофером по проселочной дороге. Дорогу бомбили. Папа просил шофера остановиться, чтобы замаскировать машину. Но шофер говорил: «О, мы промчимся!» Но машину остановил. Папа выскочил из машины, чтобы наломать веток. Даже не успел отбежать далеко, как в машину попал снаряд, и она разорвалась вместе с шофером Володей. Водителя — насмерть, а папа тогда чудом остался жив. Долго добирался пешком в Могилев. Очень устал. Няня стала обрабатывать его раны. Я очень испугалась и так плакала. Папа сказал, что вез мне замечательные игрушки, но все пропало, все осталось в машине.

Папа должен был утром идти на завод, отчитываться за командировку. Он сказал, что ему выезжать нельзя, а мы с мамой должны эвакуироваться в глубь страны. Мама стала говорить, что она никуда не поедет. Во-первых, не поедет без папы. Во-вторых, вообще никуда не поедет, потому что немцы — цивилизованный народ и не будут уничтожать людей. Папа стал объяснять, что война будет сложная и затяжная и никому, особенно евреям, оставаться здесь нельзя. Он стал складывать чемодан, а я то куколку туда засуну, то шарик какой-нибудь. Папа просил: «Детонька, много не надо, только одну куколку бери, ты ее в руках будешь держать». Он все объяснял. Что надо побольше дорогих вещей брать,

чтобы их потом можно было продать, чтобы мы ни в чем не нуждались. Все деньги, которые собрали на покупку большого дома, все золото, все облигации и документы папа сложил в карман деревянного чемодана, обшитого кожей. Папа и мама хорошо зарабатывали. Мама говорила: «Как? Все деньги на дом?» А папа объяснял, что надо все ценности брать с собой. Папа сказал, что этот нетяжелый чемодан мама должна хранить, как зеницу ока. На машине нас вывезли в Мстиславль. Почему в Мстиславль, я не знаю. Мстиславль тоже бомбили.

Вскоре папа приехал к нам. Ночь мы провели в лесу. Потом папа посадил нас на битком набитый товарный поезд. Он добился, чтобы маме освободили одно место. Мама была в положении. 8 лет родители ждали второго ребенка. Меня посадили на чемодан. Так что мы сидели. Но в поезде многие, прислонившись, стояли, сидели на ведре, кто на чем. Ехали мы очень долго. Ехали, в основном, женщины и дети, мужчин было очень мало. На некоторых станциях вагон целиком выводили и кормили. Нам давали суп. Потом опять быстренько садились в вагон. Так доехали до Ташкента. В Ташкенте нас не приняли. Сказали, что Ташкент переполнен беженцами. Всех эвакуированных называли беженцами. Нас отправили дальше. Готова была принять Фергана. Нас снова посадили в поезд.

В Фергане нас встретили и определили в барак. Что представлял собой барак? Это такие мазанки размером с гараж, белые снаружи, а внутри обмазанные глиной. В стене было маленькое окно, а вместо дверей висело байковое одеяло. Стояло две кровати, сбитые из досок, стол из досок, одна

табуретка, лежало какое-то постельное белье, байковое одеяло, стояли ведро и кружка.

Несмотря на то, что я все время сидела на чемодане, вор прорезал стенку и все-все из него вытащил. Когда мы приехали, чемодан был абсолютно пуст. У нас не осталось даже документов. Этот чемодан мы потом заклеили и даже в Могилев привезли.

Мама была очень расстроена. Ни копейки денег, даже хлеб не на что купить. Правда, соседи-узбеки оказались очень добрые. Кто вилку, кто ложку принес, кто тарелку, кто какую-то одежду, сандалии для меня. Накормили нас.

Маму приняли на работу в школу. Приняли не в старшие, а в младшие классы с испытательным сроком, чтобы проверить, правда ли она учительница. До родов еще ничего жили. Помогали нам и маме платили в школе.

Потом сразу перед родами мама получила извещение о гибели отца, которого на фронте назначили командиром стрелкового отряда, хотя он не имел военного образования. Отец был мужественным, энергичным, быстрым. Он погиб в 32 или 33 года.

Братик Сема, Соломон по метрикам, родился 2 января 1942 г. Роды были очень тяжелыми. Мама заболела (психически). Я не буду говорить о болезни. Меня определили в детский дом, а брата в дом ребенка, в приют.

В детском доме сначала было ничего, а потом туда стали помещать беспризорных мальчишек. Девочек было мало. Кормили очень скудно. В столовой справа и слева от меня сели двое ребят, старше и выше меня, и сказали, что одному из них я буду отдавать первое, другому — второе и

показали мне финку. Один съедал суп и подставлял мне пустую тарелку, другой съедал второе. Мне оставляли чай, кисель или компот. Я стала падать от голода, теряла сознание и поняла, что скоро умру.

Я убежала из детского дома. Нашла свой барак, я помнила адрес: улица 1-я Базарная, недалеко от рынка. Соседи заметили, что я вернулась, стали спрашивать, как я буду жить одна. Я ответила, что не знаю, но и в детдоме жить не могу. Я пошла на рынок. Там ходила женщина с ведром и продавала воду. Я побежала домой. Взяла ведро и кружку. Наливала воды третью часть ведра, столько, сколько могла унести, и продавала. На вырученные копейки покупала еду. Барак был недалеко от рынка. Меня на рынке все уже знали. Я носила узбекам, одетым в жару ватные запахивающиеся балахоны, воду, а они мне давали с собой много фруктов. Вечером я собирала персиковые косточки и сдавала в аптеку, а

*Мира
Романовна
Шапиро
с братом
Семеном,
Могилев,
1950-е гг.*



абрикосовые косточки разбивала во дворе на камне и ела. Они вкусные, как семечки, и теперь я знаю, что они очень полезные. Может быть, они меня и спасли.

Как-то женщина во дворе сказала, что моя мама умерла, и она хочет меня удочерить. Я спросила: «А братика, а Семочку?» Она сказала, что мальчик ей не нужен, и я на удочерение без брата не согласилась.

Соседи мне показали, где приют, и я навещала брата. Соседка научила меня вязать рукавицы для стрелков на фронте. Из-за возраста оформить меня рабочей на фабрике не могли, но соседка приносила мне ватные нитки, крючок. Я вязала, а она сдавала и отдавала мне деньги.

Где мама, я не знала. Карточек на еду у меня не было. Соседи предлагали меня зарегистрировать, чтобы мне давали карточки, но я плакала и умоляла этого не делать, потому что боялась, что меня опять в детский дом сдадут.

А потом мне сказали, что в школе дают кусочек хлеба и ложечку сахара. Это ж такое богатство! Я пришла в русскую школу, сказала, что мне уже исполнилось 8 лет, и я прошу меня принять в школу, потому что хочу получать хлеб и сахар. У меня попросили документы. Я объяснила, что документы украли. Меня отвели в ЗАГС и там выдали новое свидетельство,

Мира Романовна Шапиро, Могилев, начало 1950-х гг.



восстановленное, такую маленькую бумажку. Дату рождения записали с моих слов.

Учительница в школе спросила, на что я живу. Я рассказала, что вяжу варежки, и за них мне дают деньги. Тогда учительница посадила меня на последнюю парту, чтобы я могла вязать и не отвлекать остальных детей.

— Если зайдет кто-то из учителей или директор, ты прячь под парту вязанье, делай вид, что пишешь. То, что тебе интересно, чтение, буквы, записывай. А на пении и рисовании — вяжи.

Звали учительницу Вера Ивановна. Наверное, она тоже была эвакуированная, потому что говорила на русском языке. Класс был русскоязычный. Я потом искала ее, писала, но не нашла. Фамилию ее я не знала.

Вера Ивановна выдавала мне два куска хлеба и две ложечки сахара. Вторую порцию я несла брату.

Выписка из приказа об освобождении от занимаемой должности преподавателя школы Черновой Раисы Григорьевны в связи с возвращением в Могилев из эвакуации

Выписка из приказа № 24
По Отделу Народного образования
Ленинского р-на г. Горького
от 8 июля 1947 года.
Освободить от занимаемой должности
преподавателя школы № 106 г.об.
Черновую Р.Г. после эвакуации
возвращающей на родину в г. Могилев
с 8 июля 1947 года.
Зав. р-оном / Морозов /
Выписка верна секретарь / Мисютина /

Я носила Семочке в приют маленький кулечек с сахаром и хлеб. Там была такая металлическая решетка, и мне говорили, что он часами у этой решетки ждал меня. Я посыпала на хлеб этот сахар, и он прямо высасывал все. Когда он стал больше, я приносила ему и фрукты.

Мама все лежала в больнице. Там она переболела тропической малярией, потом брюшным тифом.

Жили мы в антисанитарных условиях. Мылась я во дворе холодной водой. Хорошо, что жарко было. Круглый год жара. Мыла не было. В школе нас коротко стригли под мальчиков, но все равно в голове заводились вши.

Только в 1944 году мама вышла из больницы. Дядя Лазарь из Москвы был эвакуирован в Горький. Он нас нашел и написал.

Папа, уже когда был на фронте, прислал нам несколько посылок. Продал новые сапоги, купил рис и выслал. Прислал консервы, которые выдавали. Потом уже позже дядя Лазарь присылал посылки из Горького.

Дядя Лазарь приехал и забрал нас в Горький в 1944 году. Мама работала в школе, но она всю жизнь болела этой тяжелой болезнью. Полгода работает, полгода — в больнице. Мы вернулись в Могилев в 1947 году. После войны и во время войны люди были очень добрые, помогали друг другу, ходили в гости. И после войны с хлебом было очень тяжело. Но если мы к кому-то приходили в гости, то, зная, что мы живем бедно, без отца, нас всегда угощали, наливали суп, давали хлеб.

Папина мама, она была учительницей, погибла в гетто в Днепропетровске.

Дли Зинаида Вульфовна (Владимировна), 1928 г. р.

До войны мы жили на улице Ленинской в доме № 12 и после войны вернулись в свой дом. Мои родители: отец — Вульф Алтерович (Александрович) Дли, 1903 г. р., и мама — Бася Романовна, 1907 г. р.

Отец работал в типографии с 1913 года, сначала помощником печатника, потом печатником. В 1918 году папа пошел добровольцем в Красную армию. Служил до 1921 года. Потом демобилизовался и вернулся в типографию. Мама тоже работала до свадьбы в типографии. Там родители и познакомились.

В 1932 году папу перевели работать директором издательства «Коммунист Могилева» (сейчас «Могилевская правда»).

Дедушка, Алтер Дли, сапожничал, родом он был из деревни. Бабушка умерла от сахарного диабета. Когда папе было 14 лет, дедушка женился второй раз. У папы был старший брат Иосиф и две сестры — Рая и Злата. Иосиф работал директором сберкассы на Ленинской до войны. Рая была певицей, выступала. У нее была дочка, которая очень хорошо пела, и в 6 лет научилась играть на гитаре.

Дедушка Алтер Дли и его жена, папина сестра Рая с дочкой и сестра папы, двадцатичетырехлетняя Злата, остались в Могилеве и погибли в гетто. Они жили все вместе в своем доме в Подниколье.

Дедушка рассказывал историю нашей фамилии. Когда чиновники шли по деревне и давали евреям фамилии, отец дедушки стоял и держал



ведро, так ему и дали фамилию «Ведро» — по-еврейски это «Дли».

Мамин папа, Рувим Дворкин, был строителем. Теперь бы его назвали подрядчиком. До революции у него было разрешение жить в Москве и Петербурге. Бабушка Цейта была образованной женщиной и очень хорошей портнихой. Бабушка всегда слушала радио, читала газеты, книги и все запоминала. Она была из очень богатой семьи и вышла замуж за простого рабочего без разрешения родителей. Родители от нее отказались. До революции ей помогали шить подмастерья. Жили они очень хорошо, но не то чтобы богато. Мама очень красиво одевалась, у нее была очень прямая осанка. Мама была родом с Луполово.

*Цейта
Дворкина,
бабушка Зи-
наиды Дли
по маме*

Бабушка и дедушка жили в большом доме на Чаусской улице. На первом этаже была их большая квартира с 4 комнатами, а на втором — до революции — полиция, а после революции — милиция. У них был просторный двор с собакой на привязи, которую я очень боялась.

Я помню, как к бабушке приходили заказывать платья. Пришла женщина, принесла фотографию платья, которую ей прислали из Америки. Бабушка посмотрела и сказала, что она сделает такое платье. А платье было сложное. Очень быстро нарисовала на бумаге фасон и потом сшила платье. По-



том девчонки, которые увидели это платье и узнали, кто его сшил, прибежали к бабушке. Бабушка сказала, что сначала должна взять разрешение у той девушки, которая у нее это платье шила. Потом она посмотрела на фигуру той девушки, которая заказывала такое платье, и сказала: «Нет, вам такое платье шить нельзя. Оно подчеркнет все ваши недостатки». Девушка обозлилась. Пошла к кому-то шить, сшила и это ужас что получилось! Бабушка всегда видела, что кому подойдет, и быстренько на бумаге рисовала. Ее забирали в свои дома богачи, и там она шила.

Перед войной дедушка заболел, долго болел и потом умер.

У бабушки было 10 детей. Двое детей умерли маленькими. Дочки Бася (мама) и Хайся (Хайя-Эся), потом были Арон, Иосиф, Зяма, Володя, Исаак, самый младший Самуил. Все, кроме Иосифа и Володи, жили в Могилеве. Иосиф жил в Киеве и погиб во время войны. Володя до войны выехал на Кавказ. Он преподавал в пединституте на дошкольном отделении. Ему очень нравилось с детьми возиться. Володя воевал, остался жив. Его жена — медработник, во время войны работала в военном госпитале.

Иосиф Дворкин, дядя Зинаиды Дли, погиб во время войны, конец 1930-х гг.



Арон Дворкин погиб в Могилеве. Он был в народном ополчении. Когда пришли немцы, он уже уйти не мог. Его прятала какая-то женщина в своем доме в подвале на Виленской. Но совсем незадолго, может, за месяц до освобождения города, когда наши уже наступали, кто-то выследил, когда он ночью выходил подышать, и выдал. Арона убили. Судьба той русской женщины неизвестна.

Дочь Арона, Аня (к началу войны ей было 23 года), работала на обувной фабрике. Когда она вернулась после войны, ее вызвали в НКВД и там рассказали эту историю.

*Вульф Алте-
рович Дли,
Могилев,
1950-е гг.*

Когда война началась, папу забрали в армию. Отец воевал на Ленинградском фронте. После объявления войны, мама приготовила вещи для

эвакуации, все сложила. Но ничего мы взять не успели. Отъезд получился очень неожиданным. Сотрудница газеты сказала, что сегодня будут бомбить: «Как, что — не знаю». Минск уже бомбили. Все семьи работников и сотрудников редакции посадили на одну машину и повезли в лес. Кто-то сказал, что в одной из деревьев живут его знакомые или родственники. Поехали туда. Там переночевали. На следующий день на дороге нас остановили солдаты с офицером.



Офицер посмотрел на нашу грузовую машину и сказал, что забирает ее, а мы должны идти по дороге по направлению к станции. Все с детьми. Мама с годовалой Нелли на руках, я и брат Дима, 1926 г. р. Без вещей, без одежды. С собой у нас было только одно одеяло и две подушки. Мама была в халате и с кавказским платком. Меня от страха колотило, да и во время бомбежек прятались в подвале, поэтому я одета была теплее всех. Я была в зимнем пальто, какой-то шапке, теплых штанах, кофте, туфельках и сарафанчике.

На вокзале всех работников с детьми посадили на открытую платформу. На таких платформах машины возили. На станциях беженцев кормили. Только у нас и налить суп было не во что. Солдаты дали брату котелок. Ехали долго. Мы хотели вернуться в Могилев, но нам сказали, что в Могилев уже возвращаться нельзя. Летали над нами самолеты, бомбили, но машинист гнал состав через лес на большой скорости. Кто-то нам кричал: «Куда вы едете? Там немцы». Потом оказалось, что впереди выбросили немецкий десант на парашютах. Нас везли в Казахстан.

По дороге маленькая Нелли заболела, и на станции Екатериновка Саратовской области нас высадили. У Нелли было крупозное воспаление легких. Нас разместили у кого-то на квартире, а маму с Нелей отправили в больницу.

Нам повезло. В больнице была женщина-врач, жена офицера. Она была эвакуирована с западных территорий, из Польши. Когда война началась, она с мужем была в театре. Муж схватил жену, они приехали домой, забрали ребенка и сразу на поезд. В сумочке, которую женщина захватила с собой, случайно оказался пенициллин, ей как раз

накануне его выдали. Этим пенициллином она сестру и спасла.

Из Екатериновки мы поехали дальше в угольных вагонах вместе с другими женщинами и детьми. Много было беженцев из Польши, жены военных. Они рассказывали страшные истории. Рассказывали, что их мужья-летчики были в отпусках, самолеты взлететь не могли, потому что не было горючего, а немецкие самолеты летали и бомбили.

Нас привезли в Казахстан, на станцию Талды-Курган, в поселок имени Кирова, где был сахарный завод. Все мы были черные от угольной пыли.

Привезли нас в колхоз, но через несколько дней у Нелли опять поднялась температура. Нам дали лошадь, и мы поехали в поселковую больницу. Приехали к ночи. Днем было жарко, а ночью очень холодно. Свет не без добрых людей. Сторож забрал нас к себе. Покормил лошадь, принес сена в сарай, и мы там ночевали. На следующий день мама попросила отвести лошадь обратно в колхоз. Нелли с мамой положили в больницу. У нее опять было воспаление.

Мы с братом остались в поселке. Сторож и его жена помогли устроиться на квартиру. Мама и брат пошли работать на сахарный завод. Мама шила и чинила мешки для сахара. Брат выучился на слесаря. На заводе вообще много детей работало и только несколько специалистов. Иногда неделями их домой не отпускали. Там и спали, и ели.

Маме и брату давали еду на работе в столовой бесплатно. А я осталась дома смотреть за сестрой. Нам дали деревянное ведро, и я ходила к бурной

горной реке за водой. Летом брала воду в колодце. Варила какой-то супчик. Маленькая Нелли кричала: «Зина варит затируху».

Заболел брат. Тиф. Он лежал без сознания. Мама пекла яблоки, варила суп, пюре и носила брату. 17 суток он так пролежал. Когда он пришел в себя, то первым делом попросил кашу. Организм был крепкий, и он поправился. Потом его забрали в армию.

По три месяца не было писем от папы. Он даже был в окружении, но рассказывать об этом не любил. У папы были медали за оборону Ленинграда 1942 года и за окончание войны.

Когда освободили Выборг, папе дали отпуск, и он приехал к нам в Казахстан. Он забрал нас и в сентябре 1944 года привез в Могилев.

Потом сразу же он должен был возвращаться на фронт. Но в городе он встретил своих бывших работников, и они стали писать письма, отношения, чтобы папу оставили в редакции работать. Папу демобилизовали, и он стал работать в типографии. Типографию перевели из разрушенного во время войны здания в какие-то складские помещения в Комсомольском сквере, возле магазина Гоменко. Поставили там машины. Папа работал и директором типографии до 1946 года, потом там стал работать Яновицкий, а папа работал директором издательства. Один из папиных знакомых привел нас в ту квартиру, в которой мы всю жизнь прожили. Он сказал, что до войны это была его квартира, и на нее никто не будет претендовать. А себе этот мужчина уже что-то другое нашел.

У брата была мечта — стать летчиком. Еще до войны он хотел ходить в аэроклуб. Его не брали, говорили, что надо подрасти. Это папа попросил,

чтобы врач ему так говорил. Брат прыгал с парашютом, прыгал с моста в речку. Маме кто-нибудь говорил об этом, и она сломя голову бежала к Днепру, боялась, что он разобьется. Там же высоко и камни могут быть. Однажды прыгнул со второго этажа нашего дома.

В 1943 году брата Дмитрия призвали в армию и направили на учебу в летное училище. По окончании ему было присвоено звание лейтенанта. Он успел немного полетать на фронте. После войны он окончил высшее летное училище в Казани. У него было распределение в Оршу, но он договорился со своим однокурсником, которого распределили в Могилев, и был направлен сюда. Потом я читала, что нельзя в свой родной город распределяться. Он очень любил маму. Привозил ей продукты, которые давали на ужин летчикам. Брат кормил заболевшую маму сам.

После распределения он прожил в Могилеве только три месяца и погиб. Это был учебный

*Бася Дли с
дочерьми
Зинаидой и
Нелли,
Могилев,
1950-е гг.*



полет. Его часть располагалась выше Быховского рынка, возле нынешнего лица. 15 сентября 1948 года он вылетал на задание и вернулся. Тогда же должен был состояться еще один вылет. Во второй должен был лететь друг брата. Он упрямил своего друга поменяться. Сказал: «Знаешь, так хочется еще слетать. Давай я вместо тебя полечу». По-видимому, это был какой-то учебный вылет, но точно не знаю. Экипаж был из 6 человек. У штурмана жена должна была вот-вот родить, он очень торопился домой. Впереди летел самолет с командиром эскадрильи. Только поднялись в воздух, увидели, что у него масло льется и требуется срочно сесть. Этот самолет стал кружиться над лесом в поисках посадочной площадки, полянки какой-нибудь, а остальным ничего не сообщил. Следующий самолет, в котором был брат с друзьями, стал также спускаться вслед за головным, зацепил крылом за дерево и рухнул.

Он упал в районе остановки около Ямницы. Всех членов экипажа при ударе о землю буквально разорвало на части. Только брат единственный остался целым, но сук или пень дерева его проткнул. Он даже еще был жив, когда их нашли. Для всех нас это была страшная трагедия.

Я брата очень любила. Это был веселый

*Дмитрий
Дли, брат
Зинаиды,
Могилев,
конец
1940-х гг.*



жизнерадостный, сильный человек, который всех заряжал своим оптимизмом. Дима был такой здоровый, крепкий, носился по городу на своем мотоцикле. Даже поверить было невозможно, что с ним что-то может случиться. Ему было 22 года, а маме — 42. В тот день Нелли купили пианино и даже не ставили на место, Диму ждали. Тогда же папа менял перегоревшую лампочку, и она отлетела прямо к дверям — это был знак.

Первым узнал о трагедии отец. Ему звонили. Когда он пришел домой, то был весь белый, седой. Поседел за один час. Отозвал меня в сторону и сказал тихонько, чтобы мама не услышала. Мама болела, у нее был плеврит, и ей даже не сказали о смерти сына. Сказали, что Митя в командировку поехал в футбол играть. Она случайно услышала разговор соседей под окном через два дня.

Была комиссия из Москвы. Хоронили всех в закрытых гробах на кладбище возле дома на улице Челюскинцев. Тяжело это было, до сих пор тяжело.

У брата была девушка Луиза. Они очень любили друг друга. Для него она поступила в медицинский институт. Говорила, что его буду «бросать» по разным гарнизонам, а она всегда хочет быть рядом с ним. Так и не суждено им было жить вместе. Она долго после этой трагедии не выходила замуж. Но жизнь берет свое...

Памятник на могиле разбившихся летчиков на Успенском кладбище в Могилеве



Иоффе (Горбунова) Ася Ефремовна, 1926 г. р.

Моя мама, Нихама Иосифовна Глускер, родилась в 1899 году. Ее папа был зажиточным кожевником с городского района Луполово. Когда ей было 10 лет, в один год умерли ее родители. Остались сиротами четверо детей: сама Нихама, старшая Маня, Давид, младшенький Борис (который тоже вскоре умер). Воспитанием детей занимались родственники. Мама даже училась в гимназии. Замуж мама вышла очень рано, ей еще и 18 лет не было. Папа был старше на 16 лет, но жили родители хорошо.



Отец мой, Афроим Евелев Иоффе, был 1883 года рождения. Его отец, мой дед Евель, торговал вапной (известью). Дед был тружеником и хорошим семьянином. Семья у них была очень большая и очень бедная. Отец ходил в хедер, на этом его образование и закончилось. Семья была не в состоянии его учить. Работал папа простым рабочим, но ума, грамотности и способностей ему было не занимать. Он самостоятельно овладел игрой на скрипке и очень ее любил, всегда увлекался политикой, не мог жить без газет.

В годы Первой мировой войны отец служил в царской армии, воевал. Возвратившись домой в начале 1917 года, женился на маме. После свадьбы стали они жить на Луполово, где у мамы был собственный большой и добротный дом, оставшийся после умерших родителей. Дом построен был в 1910 году после большого пожара на Луполово.

Жила семья небогато. Маме приходилось работать, в отличие от многих еврейских мам в то время. Сначала она трудилась рабочей в цеху расположенного недалеко от дома пивоваренного завода. Затем перешла в веревочную артель «Утильпраца» сборщиком вторсырья, где работала до начала войны. Отец тоже там работал в то время, которое я помню. Он любил лошадей и отвечал в артели за гужевой транспорт.

*Афроим
Иоффе, отец
Аси Иоффе,
во время
Первой миро-
вой войны*



Я родилась в конце 1926 года, сестра моя с 1921 года, брат с 1924 года. Жили мы, как я уже говорила, очень тяжело. Особенно трудно пережили голодный 1933 год. Папа по жизни был не очень приспособленным человеком. Он больше любил почитать, поиграть на скрипке и считал, что если

бы у него была возможность в свое время получить хорошее образование, из него могло что-нибудь путное получиться. У него была врожденная грамотность, он очень хорошо писал. Маме приходилось все тянуть на своих плечах. Кроме того, папа был очень религиозным человеком. Дома были все принадлежности для отправления молитвы. Был талес, маленький свиточек, как Тора, коробочки с ремешками, которые он накручивал на руки (тфиллин. — Ред).

В то время, которое я помню, синагог в городе

уже не было, но в каком-то доме на Луполово мужчины собирались для молитвы. Было это до самой войны. Насколько я помню, отец сам умел читать молитвы по книге, значит, владел древнееврейским языком. Он соблюдал все праздники. Мама не была такой религиозной, но она поддерживала отца во всем. На пасху хлеба на столе не было, только маца, которую делали сами и выпекали в большой печке. Была пасхальная посуда. Всегда, когда положено, у нас дома постились и, между прочим, я тоже всегда пощусь, хотя и не очень религиозная. Шаббат папа тоже строго соблюдал, в субботу ничего не делал. Когда папа был в русской армии на Первой мировой войне, он вынужден был есть сало, но потом больше не ел. Между собой родители всегда говорили на идиш, однако, как ни странно, нас особенно учить не стремились. Я все понимаю, но разговаривать практически не могу.

Вот еще что вспомнила. До войны мы никогда сами курей не резали, носили к шейхоту (резник. – *Ред.*). После войны на Быховском рынке был такой мясник-шойхет, его все называли «китайчик». Он не был евреем, но знал откуда-то основные принципы разделки кур по еврейскому обычаю и всегда резал нам курей.

Приготовление еврейской пищи — это отдельная тема. Мама всегда

*Нехама
Иоффе,
мама Аси
Иоффе,
1950-е гг.,
Могилев*



очень вкусно готовила еврейские блюда. А я и сейчас люблю что-то приготовить. В памяти тоже много чего осталось: как толкли мацу в специальной ступке и просеивали через сито, чтобы получить отдельно крупу, отдельно муку. Как резались гуси, чтобы было сало и шейки. К каждому празднику варилось что-то свое. К Пуриму делались гоменты — такие треугольные пироги с маком. Делалось кислое тесто, толкли мак, парили, жарили на меду — целый процесс, начинали им раскатанное тесто и заворачивали треугольником. Потом выпекали. К Пасхе делали имберлах (мацу с медом и имбирем) и эйркафлех. Это кругленькие коржики из одних яиц без соли и сахара. Делали айнггемахц — редьку с медом, тейглах — круглые тестяные бобки, жареные на меду. Конечно, делали паштет из печени, фаршированную рыбу, форшмак из селедки. Де-

*Ася Иоффе,
Могилев,
1940-е гг.*



лали часто бейлик — белое куриное мясо с луком, специями перемешивается с мацой и яйцами. Отдельно кипятится вода с перцем и солью, и в ней варятся эти галушки из полученного фарша. Мама очень хорошо готовила цимес, бабки, фаршированную рыбу.

В конце 20-х годов моя сестра пошла в школу. И ведь на Луполово была еврейская школа, но ее почему-то отдали в белорусскую. До войны в еврейской национальности не было, как позже, чего-то ущербного. Можно сказать, мы с гордостью носили это своеобразное звание — еврей. Мы ни грамма не стеснялись национальности, своих имен и фамилий. Вокруг жило много евреев и много белорусов, и отношения были дружескими. Мы не ощущали к себе не только неловкости, просто даже особых различий в отношениях не было. Никто никогда не подчеркивал, что ты еврей. А сейчас это на каждом шагу.

Жили мы на Луполово, как я уже говорила. Луполово в то время было фактически деревней. У всех были свои дома, свое хозяйство. Евреев было, по-моему, процентов 50. Наш дом стоял на Новочерниговской улице. Сама улица была выложена булыжниками. И все хозяева домов подметали эту улицу каждый день. Так было положено. Я помню, что мы маме всегда помогали убирать, и мне кажется, тогда было гораздо чище, чем сейчас. Знали друг друга очень хорошо. Рядом с нами жили Солтены, Хейфецы, Альтшуллеры. Общались друг с другом, праздновали вместе праздники. И мацу ели вместе со своими русскими подругами. Это было совершенно нормально.

К началу войны я окончила 7 классов русской школы № 14. На Луполово была одна эта школа, и

все мы учились там. В школе было много евреев, и жили мы дружно.

Я помню Захара Фарберова, Малиса Болотина, Борю Эппельмана. Все они были моими ровесниками. Рожденные в 1926 году, призывались в армию в 1945 году. Леня Певзнер, Иссак Левитан — погибли в Могилеве.

Мина Лазаревна Ланцман вела у нас историю. Учитель Марк Евсеевич Канторович был классным и преподавал математику. Раньше он работал в еврейской школе № 3, а когда ее закрыли, перешел к нам.

Теперь, мне кажется, в человеческих отношениях стало меньше уважения друг к другу, даже есть ненависть к другой нации. Тогда этого совсем не было. Даже в те страшные 1937-й и другие годы репрессий.

Нашей семьи напрямую репрессии не коснулись. Только в школе мы стали сталкиваться с тем, что неожиданно не приходил на урок какой-нибудь учитель, потому что его «забрали», а то вдруг арестовывались родители учеников.

*7-й класс
школы № 14
Могилева,
1940 г.*



Когда я была в четвертом классе, еврейские школы закрылись. Я это помню потому, что именно в этот год к нам пришли девочки из еврейской школы № 13, которая была рядом, на Луполово.

Когда началась война, стали говорить, что надо уезжать, мама говорила на идиш: «Потер!» (Подумаешь!). Она говорила, что немцы в нашем доме во время Первой мировой войны стояли, и ничего не случилось, никого не тронули. В основном, уехали из-за меня. Я была, как сумасшедшая, так боялась бомбежек.

Хорошо помню начало войны. Была страшная паника, но большинство людей верило, что война вот-вот кончится. И, честно говоря, мало кто представлял, что больше всего война отразится на евреях. Получалось так, что убегали не от немцев, а больше от бомбежек. Конечно, если бы все знали, что ждет здесь евреев, никто не остался бы. Вот остались в Могилеве мамина сестра Маня Аврутина со своим мужем Самуилом и дочками.

Маня Аврутина, тетя Аси Иоффе, с мужем Самуилом и дочерьми Бебой и Соной погибли в могилевском гетто, Могилев, конец 1930-х гг.



Мы с ними жили в одном доме. У Самуила был брат, который в это время сидел в тюрьме. И они все ждали, что его вот-вот освободят, и поэтому не уезжали. Мы уже в эвакуации получили от них письмо, датированное 10 июля. Старшая дочка Соня писала, что от бомб и снарядов не находят себе места. Больше от них мы вестей не имели. После возвращения в Могилев мы узнали от соседей, что они погибли. Рассказали, что всех евреев согнали в гетто на Дубровенке. Вспоминали, как их всех выводили на расстрелы. Место расстрелов так и осталось точно не известным. Цветы я ношу к общей могиле на кладбище.

Мы эвакуировались вместе с мамой, папой (ему было 58 лет, и он был уже непризывной), сестрой Соней, 1921 г. р., братом Яшей, 1924 г. р., 3 июля (в этот день выступал по радио Сталин). С нами ехали еще две семьи: Копельманы (в этой семье были мама, папа и сын Борька, мой ровесник, два его брата были уже на фронте) и Цейтлины (мама, папа и сын Фима). С нами ехала и мамина тетя, Мейта, у которой в Мстиславле жил родной брат. Она сказала, что дальше не поедет, останется у него. Вообще, все считали, что в деревнях и мелких городках будет спокойнее.

Папа взял подводу и лошадей, которые дала артель «Утильпраца», где работали родители. Мы пошли на Сухари, потом на Рославль. Кое-какой скарб мы положили на телегу. Все шли пешком, но детям разрешали немного подъехать.

Доехали до Сухарей. Там переночевали и утром двинулись дальше. Поехали на Рясно, тогда это было еврейское местечко. Там мама купила муку, испекла нам хлеб. Пожили мы там не-

сколько дней. Там нам вроде и понравилось, мы расселились по домам. Думали, что там и войну переждем. Но в одно утро проснулись от стука в окно: «Собирайтесь! Выгоняют колхозный скот. Надо ехать дальше». Мы быстро подхватились, папа запряг лошадь. Пошли по дороге.

Мы шли вперед, а навстречу по дороге шла армия на фронт. Дошли до Рославля, но в Рославль нас не пропустили. Это была первая ночь, когда бомбили Рославль.

Утром мы смогли попасть на вокзал, где формировался состав из открытых платформ. Папа сказал, что дальше надо ехать на поезде, на лошади далеко не уедешь. Лошадь мы сдали в милицию. Нам дали справку и эта справка у нас еще долго хранилась, сели на платформу и поехали на восток. Состав не раз бомбили, но, к счастью, мы остались живы.

На открытых платформах с фронта везли разбитые машины. Мы отъехали недалеко до Сухиничей, когда напали немецкие бомбардировщики. Все соскочили с платформ, бежали по полю. Очень страшно было. Когда все успокоилось, сели обратно. Ехали голодные, грязные, вшивые. Доехали до Кузнецка. Там сказали, что на вокзале есть хлеб. Пока мы стояли в очереди на вокзале за хлебом, состав двинулся. Я, папа и брат остались на станции, а мама и сестра уехали. Мы нашли маму с сестрой уже в Пензе.

Поезд ехал в Среднюю Азию, а мы сошли в Самаре (тогда — Куйбышев). Две другие семьи, которые ехали с нами, поехали в Чкаловский район.

В Самаре жил мамин брат Давид с семьей. Они нас у себя прописать не смогли, и мы поехали в совхоз «Батрак» Алексеевского района

Куйбышевской области. Теперь совхоз называется «Авангард». Совхоз, где мы жили, был очень большой, семь отделений. В каждом отделении пекарня. Особенно тяжело было в первый год. Зимой было холодно очень. Топлива не было. Это голая степь. Лесов нет. Ближний город — 120 километров, ближняя станция — 60 километров.

Топили там кизяком. Но у нас не было ни коровы, ни коня, поэтому навоза не было тоже. Мы мучались: мерзли и варить не на чем. На следующий год нам привезли навоз, и мы сами делали кизяк и топили плиту. И грелись, и готовили на ней.

Мы не голодали. Сестра работала в совхозе бухгалтером. Папа — в школе механизации. Мама тоже работала в колхозе. Мы с братом

были мобилизованы на сельхозработы наравне со взрослыми. Каждое утро вскидывали тяпку на плечи или грабли и шли в поле. У нас был свой огород, где мы выращивали картошку. Выбирали в степи лощинки и сажали там овощи. За лето там не бывает ни одного дождя. Выращивали и картошку, и просо. Мама собирала колоски, молола.

Жили мы в саманном бараке. Барак — длинный одноэтажный дом, по бокам — комнаты, посередине — общий коридор. В

*Яков (Иосиф)
Иоффе, брат
Аси Иоффе,
погиб на
фронте в
1943 г.*



каждой комнате — семья. Летом жарко, поэтому открывали и окна, и двери. На дверях висели занавески. Ткани было мало, поэтому занавески до пола не доставали, а мы, дети, бегали и заглядывали, что у кого в комнате делается. Дружили все. Одна соседка даже удивлялась, что евреи такие же люди, как все.

В 1942 году брата призвали на фронт и в 1943 году он погиб. Из армии он писал очень часто. Я все его письма сохранила и до сих пор перечитываю. Он был очень хороший. Когда пришла похоронка, все соседи плакали. Я ездила на могилу брата. Там братская могила, и есть его фамилия на надгробии в списке похороненных.

Отец очень переживал, у него случился сердечный приступ, и он умер через пару месяцев. Он очень не хотел умирать, хотел посмотреть, как будут после войны жить.

Извещение о смерти Иосифа Иоффе

Форма № 4

Извещение 189.

Ваш сын Краснодарский Иосиф
(муж., сын, брат, военное звание)

Иосифа Бодермановича
(фамилия, имя, отчество)

уроженец Кубышевской обл. Алексеевский р-н
(область, район, деревня и село) с. Сивки

В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был ранен и убит 08-10-43г. в с. Могильевская обл. Кубышевский р-н
(дата, место, место отряда)

г. Алексеевский р-н г. Кубышевский

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. (Приказ ВКО СССР № 440 от 18/XI—40 г.)

Алексеевский районный индентант Сидорович (Кондаков)
 Начальник АХЧ РКБ Михайлов

№023190 Алексеевский р-н, Кубышевской области. Тип. изд-ва „Степная правда”.
 Тираж 500 экз. Заг. № 90

*Михаил
Стукмей-
стер, муж
Асиной се-
стры Сони,
был призван
в 1939 г., по-
сле разгрома
Германии
прошел и
японскую
кампанию*



Еще расскажу о семье мужа моей сестры Сони, Михаила Стукмейстера. Его самого призвали в армию в 1939 году. Он служил сначала в Ереване, потом принимал участие в битве за Ростов, позже освобождал Чехословакию, а после окончания войны, в августе, их перебросили на восток, так что он участвовал и в Японской кампании. Отец его попал в гетто и там погиб. А брат и сестра — Айзек и Паша, смогли убежать, попали в Мстиславль. Она была светленькая такая, совсем не похожа на еврейку. В Мстиславле они встретили знакомого из Могилева, испугались, что он их может выдать, убежали оттуда тоже. За евреев их не признавали, и в этом было их счастье. По паспорту Паша была Прасковьей Иосифовной Стукмейстер, ее как русскую угнали в Германию. Практи-

чески всю войну она прожила там. Конечно, сам по себе факт удивительный, но не уникальный. Я сама слышала несколько подобных случаев, когда евреи попадали в Германию под чужими именами и оставались живы. Освободили Пашу американцы. Она вернулась домой, но позже уехала в Грузию, где вышла замуж и прожила там до конца жизни. Она так и осталась Прасковьей Морозовой, русской. Айзек погиб.

Мы же вернулись в Могилев где-то в июле

1945 года. Дом наш сгорел. И мы очень благодарны нашим старым знакомым еще с Луполово, семье Шейниных. С ними встретились совершенно случайно на вокзале. У них была одна комнатуха на четверых человек. В ней жили мама Розы, сестра мамы, сама Роза и ее брат Саша. И вот они нас приютили в этой комнате, пустили под свою крышу. Жизнь нас не баловала. Было очень тяжело. Начинать надо было с нуля. Мама пекла хлеб и продавала на базаре. Конечно, было тяжело тягать эту муку, вязанку дров, сумки с хлебом. Мужских рук ведь не было. Два года мы мотались по частным квартирам. Нас там обворовали. Мама снова пошла работать в пункт приема утиля и работала там до пенсии. Потом помогала воспитывать детей.

Жили мы очень дружно, кстати, и о том, что евреи, не забывали. Справляли еврейские праздники, сами пекли мацу, мама всегда соблюдала пост. Молиться, правда, не ходила. Миша, хоть старался как-то соблюдать традиции, но все же был коммунистом, он вступил в партию во время войны. Кстати, недалеко от нашего дома был молельный дом, т. е. частный дом, где собирались старые евреи и проводили молитву. Хозяйками были две сестры. Одну из них звали Тайба, мы ее называли Таней, как звали вторую,

*Папе
Стукмей-
стер, сестре
Михаила, по-
счастливи-
лось выжить
в оккупиро-
ванном
Могилеве,
была угнана
в Германию,
1946 г.*



я не помню. Но она, вроде, была немного не в себе. Таня была хорошей портнихой. Я часто бывала в этом доме просто по своим делам. Но я знала, что там проходят моления. Верхняя часть дома деревянная, а нижняя — высокая, каменная. Вот в этой нижней части и собирались религиозные евреи. Когда этот дом сгорел, Таня уехала в США.

Сейчас в городе есть синагога, и я в нее с хожу с удовольствием. Хоть какая-то отдушина...

Еще мне непонятно, почему наши евреи никак не могут добиться возврата синагоги.

К., 1929 г. р.

Про себя рассказывать не хочу, тяжело, но хотела бы, чтобы все узнали про подвиг белорусского машиниста, который вез нас в эвакуацию.

До войны мы с мамой жили в Могилеве. Когда война началась, к нам во двор заезжал мужчина-белорус на лошади и кричал: «Езжайте на вокзал, вас отвезут в Россию!» Все соседи уехали, а мама никак решиться не могла. Тогда снова приехал этот мужчина на лошади и сказал, что немцы уже близко и от вокзала отойдет последний поезд. Уже стреляли, бомбили, я видела, как бомба летела, и не понимала, что это такое. Тогда я стала командовать и сказала маме: «Поехали!» Мама послушалась. Мы сели в поезд и ехали в переполненных вагонах-телятниках 18 дней. В поезде было много евреев. В дороге нас кормили.

Несколько раз поезд бомбили. Спаслись благодаря мастерству машиниста. Он останавливался, если видел впереди самолет или разрушенный путь и ехал назад, переводил стрелки и ехал по

другому пути. Как-то поезд так трянуло от резкой остановки, что девочка, которая стояла на каком-то возвышении и читала стихи, упала. Мы увидели, что в 20 метрах впереди грохнула бомба, пути были разрушены. Машинист вернулся назад и поехал по другому пути.

Не доезжая до границы с Россией, рано утром, кто-то закричал, что немцы бросают бомбы на поезд. Все-все выбежали из поезда и убежали в поле. Мы схватили подушку и маленький чемодан, которые взяли с собой и тоже выскочили из вагона. Мама легла на меня и повторяла тихонько: «Хоть бы сохранить мейделе (девочку. – Ред.), хоть бы жить осталась». Из-под маминой голо-

вы я видела лица немецких летчиков, закрытых какими-то очками, как они наклоняли свой самолет, как стреляли сверху из пулемета прямо по людям, как бомбили. Но я не пугалась, я смотрела на это, как на чудо. Впереди меня, меньше чем в 10 метрах, лежал крупный мужчина с женой и детьми. Прямо перед собой я видела его длин-

*Эвакуация
гражданского
населения.*

*Источник:
http://uvsr.stu.ru/foto/voin_gaz/voin.htm*

ные ноги. Когда грохнула бомба, я закрыла глаза. А когда я глаза открыла, ног уже не было. Их оторвало взрывом, и торчали только окровавленные кости. Я до сих пор это вижу перед собой. Это забыть невозможно. Когда самолет улетел, мы пошли к поезду. Еврейский мужчина лежал на рельсах около мертвой жены и детей и кричал по-русски и



на идиш: «Лучше бы я, лучше бы меня убили!» Они не успели перейти рельсы. Эти воспоминания живут во мне, и так хотелось бы кому-то рассказать, чтобы написали про зверства этих мерзавцев!

Когда заехали подальше за Москву, стали на станциях отцеплять по одному заднему вагону с пассажирами. Мы ехали в третьем или четвертом вагоне и доехали до Марийской АССР. Там нас остановили на железнодорожной станции и привели в столовую. Мы были жутко голодные. Нас накормили. Марийские женщины спросили, давать мне детскую порцию или взрослую. Я подумала, что взрослый паек больше и попросила ее. Потом пожалела, потому что детям давали и конфеты, и много вкусного, но промолчала. Меня и маму отправили в деревню. Помню, как я выходила из дома, меня окружали марийские дети, что-то говорили, а я ничего не понимала.

Камеко Галина Максимовна, 1935 г. р.



Я — самая младшая в большой семье, шестой ребенок. Родилась в местечке Круча Круглянского района Могилевской области.

Отец до революции работал кем-то во дворянстве в городе Лепеле. За это в 1933 году он то ли был выслан, то ли был вынужден бежать из Лепеля в течение суток и приехал в деревню Круча (родственники потом писали в разные архивы, пытались найти информацию о том, почему его выслали, но ничего не смогли найти).

Через год или два вслед за отцом переехала вся семья. Тогда же старшая сестра вышла замуж за лейтенанта-пограничника, и они переехали на родину мужа в Россию.

Жили мы в доме у пожилой, одинокой очень хорошей женщины-еврейки по имени Доба. Потом родители купили сруб и построили свой дом рядом с домом Добы. Отец, Максим Яковлевич, 1888 г. р., работал в бухгалтерии в колхозе. Он был грамотным человеком, хотя, по-моему, образование у него было только 4 класса. Мама, Ефросинья Лаврентьевна, 1890 г. р., не работала, воспитывала детей.

Круча до войны — это еврейское местечко, практически курорт. Только огороды отделяли дома от соснового леса с одной стороны, а с другой — живописная речка. Летом горожане приезжали с детьми на отдых.

Война началась страшно, неожиданно, грохотом взрывов. По обочинам дороги, по лесу, по низу у реки бежали на восток советские солдаты, раненные, в крови. В противоположную сторону по уложенному булыжником шоссе в направлении Толочина двигались немцы. Ехали они на мотоциклах, с песнями, криками. Мы смотрели на все это с ужасом из закрытого дома, через щелки. Немцы проехали без боя.

В начале войны в местечко к родителям вернулись из России старшая сестра Люба и сестра Таисия, которая до войны уже работала учительницей в Западной Беларуси. Так собралась вся семья.

Однажды, где-то в сентябре 1941 года, мы с Таисией и ее подругой пошли в лес собирать бруснику. Когда возвращались, увидели, что что-то

блестит на дороге из Толочина. Через некоторое время поняли, что идет большой немецкий отряд. Немцы были в длинных зеленых шинелях, а блестели на солнце каски и штыки на винтовках.

Побежали в деревню сообщить об этом. Я бежала впереди, перегнала девушек и кричала: «Немцы идут! Немцы идут!» Все жители очень быстро собрались и убежали в лес. Успели взять с собой только теплые вещи и немного еды. Переворачивали повозки, прикрывали лапником и под ними ночевали. Помню, как лес бомбили. Может быть нас, жителей деревни, принимали за партизан? Но тогда и партизан еще не было. В лесу мы жили недели две.

*Максим
Яковлевич и
Ефросинья
Лаврентьев-
на Камеко с
детьми,
1936 г.*

Мой 12-летний брат Валентин в то время, когда пришли немцы, пас свиней на луку и не успел убежать в лес. Он остался в местечке. Свиней, конечно, всех немцы порезали, но брата не трогали. Когда немцы ушли, мы вернулись домой. Домашних животных и кур в деревне уже не было. Дом был пустой.



Евреев в Круче расстреливали в начале октября. Сначала их собрали в какое-то одно место, заставили ходить в повязках. Потом вечером стреляли около леса. Расстреливали немцы. Было очень страшно. Все плакали, кричали. Говорили, что крики и стоны из могилы раздавались неделю.

Прошло какое-то время, и наше местечко

сожгли. Кто именно сжег Кручу, я не знаю. Говорили, что в местечке хотели делать гарнизон и его сожгли партизаны, чтобы этого не допустить. У нас почти ничего не осталось. Нас направили в деревню Угляны, километрах в шести от Кручи. Там мы жили в школе вместе с большой семьей цыган и еще с кем-то. У отца была большая грыжа, он физически работать не мог.

Там родителям кто-то рассказал, что в деревне Косье живет в доме 12-летняя девочка-сирота. Девочка одичала от одиночества, просто завывала от ужаса. Мы перешли жить в хату к девочке. Мама заботилась о девочке, но еды не было. Мама с сестрой ходили за подаянием. Обычно подавали только бураки. Помню котел с вареными бураками на столе. Иногда давали картошку, зерно. Помню, крестьяне разорили колхозный амбар. Зерно разобрали по домам и нам немного дали.

Зимой 1942 года появились партизаны. Начались бои между ними и немцами. Стало легче. Почему? Потому что появилась конина. Сестры вырезали куски мяса из убитых во время боев лошадей.

Брат Максим перед войной женился. В 1941 году у него родился сын Федор. Жена Максима, Феня, была родом из деревни Аладинка около Кручи. Мама говорила, что она из семьи староверов. У Максима было плоскостопие, и в армию его не взяли. Когда появились партизанские отряды, Максим ушел в лес.

В партизаны вскоре ушла и сестра Таисия. Полицейский гарнизон находился в Углянах, в той школе, где мы недолго жили. Тасю направили в гарнизон работать официанткой. Как-то полицейские узнали о ее связи с партизанами. Таисию со второй

девушкой-официанткой посадили в камеру и пытали. Их били молотками. Партизаны узнали об этом аресте, напали на гарнизон, разгромили его и освободили девушек. До освобождения Белоруссии сестра оставалась в партизанах.

Деревня Косье, где мы жили после сожжения Кручи, также была партизанской, рядом с лесом. Все годные по возрасту жители были в партизанском отряде. В деревне для партизан пекли хлеб.

Памятник на месте расстрела евреев местечка Круча недалеко от еврейского кладбища установлен в 1960-х гг. родственниками погибших



Напротив дома, где мы жили, стоял дом сестер Мошарейко. Однажды партизаны, зная, что поблизости немцев нет, пришли помыться, отдохнуть. Пришли Тася с подругой, сын одной из сестер Мошарейко и другие. Никто не знал, что в соседней деревне тайно находились немцы. На разведку они послали «нищенку», которая увидела партизан и сообщила им. Немцы застали партизан врасплох. Голые, не успев одеться, бежали партизаны в лес. Парень Мошарейко помылся и лежал на печи. Он убежать не успел и его застрелили прямо дома. Потом выволокли, привязали к саням и повезли по деревне показывать.

Полицай арестовали отца и тринадцатилетнего брата Валентина, привели к немцам. Отец был похож на еврея и ему немцы стали кричать: «Юде! Юде!» Отца привели в гумно и поставили к стенке. Мы жили в еврейском местечке, родители знали немного еврейский язык, похо-

го еврейский язык, похо-

жий на немецкий. Папа как-то на смеси языков стал объяснять, что он не еврей. Он вспомнил, что все евреи старшего поколения обрезаны, расстегнул штаны и показал, что не обрезан. Отца не расстреляли, но в заложниках оставили. Всех заложников заставили копать яму. К ним подошел переводчик, и папа стал объяснять, что они не партизаны, а мирные жители, а партизаны убиты или убежали. Переводчик пошел в немецкую комендатуру, рассказал об этом и всех заложников немцы отпустили. После этого случая папа разрешил брату Валентину открыто курить, до этого он смолит тайком.

Валентин тоже был в партизанском отряде, там его приняли в комсомол. Он участвовал в нескольких боевых операциях и как разведчик принимал участие в освобождении Могилева.

Полиция была еще страшнее немцев. Двоюродный брат жены Максима Фени был полицаем. Он бил и пытал Феню, вливал самогон в рот ее восьмимесячному малышу, чтобы получить от сестры сведения о партизанах. Феня ничего не сказала. В 1944 году Максима назначили председателем сельсовета в Круче. Но через неделю после освобождения он был убит. Его труп с простреленной головой нашли в лесу у ручья по дороге в Аладинку 9 июля 1944 года. Убийцу не нашли,

*Галина
Камеко,
1951 г.*



а в семье считали, что убил его тот самый брат Фени, который сбежал.

Когда немцев разбили, они убежали не по шоссе, а окраинами. Бежали оборванные, обтрепанные, с кровоточащими ранами, у одного были оторваны ягоды. Мы опять прятались дома. Наши солдаты шли по дороге.

Свое участие в партизанском движении сестра Таисия и Валентин смогли подтвердить только спустя много лет. Они не знали, как их отряд назывался в военных документах, название его было зашифровано и рядовые партизаны его не знали. На запросы в архиве брату и сестре отвечали, что такие в партизанском отряде не значатся. В конце 70-х или начале 80-х в киоске я купила книгу «Партизанское движение в Белоруссии. Том 6». Переслала ее Валентину. В книге брат увидел описание военных действий, в которых он принимал участие. Только тогда Валентин и Таисия узнали настоящее название отряда, в котором воевали, и смогли получить партизанское удостоверение и льготы.

Келерман Нота Мотович, 1932 г. р.



Дед, отец мамы, Ножницкий Мендел Залманов, приблизительно 1870 г. р., был родом из Шклова. Его хата в Шклове на улице Интернациональной была такой старой, что сидела в земле и пол не везде был. Дед делал на могильных камнях надписи на иврите.

Папа, Келерман Мота Нотович, 1903 г. р., и мама, Ножницкая Фаня

Менделевна, тоже родились в Шклове. Отец был столяром. Работал по деревням и домам в Шклове вместе со своим отцом и тремя братьями: Соломоном, Гришей, Хацкедем. Все были столярами. Говорят, что они даже выиграли тендер на изготовление стульев для губернатора или какого-то министра.

Всего у папы было в семье 9 детей, и мы как-то насчитали, что у меня 54 или 56 двоюродных братьев и сестер.

Рядом с проходной металлообрабатывающего завода был деревянный дом папиной сестры Стеры Плоткиной. Ее муж, Моисей Плоткин, работал в гараже кузнецом. Кузница, которая до революции принадлежала отцу Моисея, находилась на улице Первомайской, недалеко от теперешнего здания бывшего Ленинского райисполкома (она стояла еще в 1955 году), там рядом были вкопаны столбы, чтобы привязывать лошадей.

Когда началась война, Моисею дали «полуторку», он погрузил семью: отца, жену Стеру, дочь, сына Натана и поехал в эвакуацию. Отъехал на 30 км, машину у них забрали, и они вынуждены были вернуться в Могилев. Их всех уничтожили. Моисей, после войны рассказывали, работал в гараже у немцев до 1943 года. Соседи спрашивали, почему он не уходит,

Келерманы Мота Нотович и Фаня Менделевна, Могилев, 1950-е гг.



а он отвечал, что семьи у него уже нет и идти ему некуда.

Соломон Келерман работал в пищеторге, ремонтировал магазины. Его, как коммуниста, оставили в Могилеве. Семья его эвакуировалась в Челябинск. Последний раз его видели соседи, когда немцы входили в город, он бежал куда-то с винтовкой.

До войны мама была домохозяйкой. Мы жили в своем доме на месте современного проспекта Мира. В семье было трое детей: Сара (после войны звали Соня), 1928 г. р., Моисей (после войны звали Миша), 1932 г. р., и я.

Учился в школе, в здании, где теперь гостиница «Губернская», на углу улиц Ленинской и Миронова. Папа работал столяром в школе МГБ, там же работали два его брата Гриша и Хача, которые потом были призваны в армию и погибли.

Через неделю после начала войны, когда город стали бомбить, мы с родственниками пешком ушли в Шклов, прожили там неделю. Еще из Могилева в Шклов корову тянули. Папа там ее продал за 900 рублей, а покупал за 3 тысячи.

Потом пешком шли от Шклова до Темного Леса. Была одна подвода и 9 еврейских семей: три маминых замужних сестры: Белла Драпкина, Хая Эфес, Соня Перлина, все с детьми, жена папиного брата Гета, с ней была ее сестра Йоха с мужем Шайей, сын Ицка, дочь Хава и кто-то еще. Три дня мы шли лесом, всего 90 км. В первую ночь нас в деревне пустили переночевать, а во вторую — (тогда уже немцы доходили) боялись пускать. На третий день вошли в деревню Темный Лес.

Дядька, Лева (Лейба) Драбкин из Шклова, муж маминой сестры, был на своей лошади (до

революции дядя Лейба работал в лавке, потом, когда лавки закрыли, работал на лошади). На его лошади с телегой мы и эвакуировались. Потом он лошадь сдал в колхоз.

На какой-то станции стоял эшелон. Из вагона выкидывали мусор. Мы туда сели, доехали за ночь до Унечи. Жили там три дня, в Доме пионеров, недалеко от вокзала. Было много, очень много людей. Начали бомбить. Ночью посветлело, как днем.

Какой-то мужчина в галифе, защитной рубашке ходил и говорил, чтобы уезжали оттуда, не оставались. К вечеру третьего дня там никого не осталось, все уехали. Опять погрузились в эшелон, ехали недели две. У нас с собой еще был папин велосипед, в Балашово продали.

Сколько пересадок было, уже не помню, переезжали через Волгу. Приехали в Куйбышев. Папа уже знал, что туда эвакуировали из Могилева завод имени Димитрова, где работала его сестра Люба. Пока папа ходил по вокзалу, у него вытаскивали все документы.

В Куйбышеве нас не выпустили, повезли километров за 60, выгрузили на вокзале. Первый раз там увидел верблюда. На этой станции побыли около суток, потом опять сели в вагоны и довезли нас до Стерлитамака, а жена папиного брата, Эсфирь, с детьми пересела в другой вагон и уехала в Ташкент.

В Стерлитамаке беженцев уже ждали подводы и много лошадей. Погрузили всех и три дня везли в деревню Комовка (Пугачевский сельсовет Федоровского района Башкирской АССР). Там в колхозе было три деревни и в каждой деревне отдельная бригада: большая — Ивановка, и две поменьше: Львовка и Комовка. Нас распределили:

мы остались в Комовке, тетя Хая с детьми — в Ивановке, тетя Гея с детьми — во Львовке, и сразу всех отправили на уборку сена.

Все лето родители работали в колхозе, занимались всеми сельхозработами. Потом папа ушел в Стерлитамак, восстанавливал документы. Ему сразу предлагали поехать к староверам. Но предупреждали, чтобы ни ложки, ни чашки у них не брал. Папа походил, поискал, но работы с жильем не нашел. Из-за безработицы поехал искать работу. Пошел вместе с мамой в Мелеуз Башкирской АССР, в 90 километрах от Эсимбаева.

*Герц Залманович
Подольский,
1904 г. р.,
отец Розы
Подольской,
жены Моты
Келермана.
Прошел войну
с Германией
и Японией,
Могилев,
1940-е гг.*

Я и моя старшая сестра Соня (Сара) ходили в местную школу в Комовке. За нами присматривала мамина сестра Софья Перлина.

Когда уже похолодало, в октябре 1941 года, мы (я, брат, сестра) вместе с семьей Перлиных (Шая, Июха, Ицка, Хава) шли пешком 35 километров

от Кумовки до Мелеуза. В первый день дошли до деревни Вшивка. Дождь шел. Холодина. Шли от деревни к деревне: от Комовки до Пугачей — 7 километров, от Пугачей до Ерматов (татарская деревня) — 7 или 8 километров, от Ерматов до Вшивки — 3 километра, от Вшивки до Романовки — 8 километров, от Романовки до Мелеуза еще 10 километров. Потом я там ходил неоднократно, даже прожатый был.



Папа работал на лесозаводе в Мелеузе до 1943 года. На заводе выпускали лыжи и телеги для фронта.

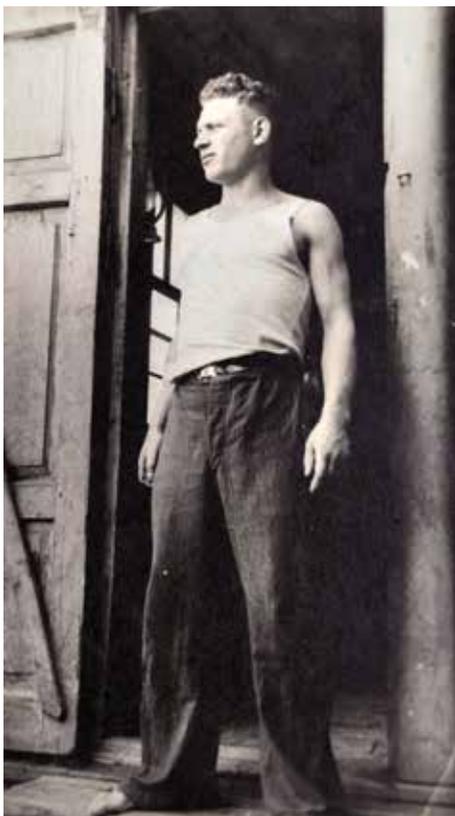
В 1942 году, в 72 года, умер дед. Везли его на санях в Мелеуз по морозу хоронить.

Осенью папа делал кладку через речушку, которая впадала в реку Белую. Он застудил ногу, у него была рожа. Делали операцию. Нога не сгибалась до конца. Каждые три месяца вызывали его в военкомат. Дали направление в Уфу в больницу на освидетельствование. Отца там комиссовали.

Перед поездкой в Уфу родителям посоветовали купить масло. В Мелеузе масло стоило 20 рублей, а в Уфе — 240 рублей. Папа пошел к врачу, а мама продала масло и всего накупила: кальсоны, рубашки, сахарин, чай. Потом продавали, это нас выручало.

Дядю Леву Драбкина, который работал на лошади, в 1942 или 1943 году забрали в трудармию в Левашовку, а у него была язва желудка, каждый день катался от боли. Он умер там через полгода. Поехали папа с тетей Фаней дядю хоронить, но не успели, его уже похоронили. В Левашовке местные жители ждали немцев, как «манну небесную», думали легче будет.

*Келерман
Нота
Мотович
на пороге
своего дома,
Могилев,
1950-е гг.*



За то, что папа поехал на похороны брата без разрешения, ему вlepили 25% штрафа на год. Папа получал 700—800 рублей, на которые можно было купить только ведро картошки, не больше, и от этого еще 25% отняли. Папа отработал на лесозаводе года полтора. Потом, в 1943 году, директор мясокомбината, Алкин из Шклова, посмотрел на отца, который опух от голода, и взял его на работу. Там папе давали кровь, ноги, овечьи головы. Только на этом смогли выжить.

Мама шила кальсоны для военных. Денег за работу ей не платили, а давали рабочую карточку на полкилограмма хлеба в день.

В октябре 1945 года вернулись в Могилев. Мама в Пензе заболела тифом, не могли уехать, три дня сидели на вокзале. Все собрались: наша семья, сестры с детьми. В наш дом не пускали, там жил обкомовец. Мама болела. Дней 10 жили на веранде. 9 мая 1945 года пришло извещение о смерти сына двоюродного брата Бейли. Так что праздника не было.

Кравец Марат Борисович, 1934 г. р.



Когда я родился, мама, Ида Яковлевна Комиссарчик, уже работала учительницей, а папа, Борис Маркович Кравец, был еще студентом Могилевского пединститута.

Мама родилась в городе Калинковичи Гомельской области. Бабушку звали Слава, а дедушку — Яков (на самом деле у них было по два имени, но я их не знаю). У них было десять детей.

Бабушка ушла из жизни во время гражданской войны. Рассказывали, что тогда по Белоруссии рыскали всякие банды. Маме тогда было 10 лет. Бабушке сказали, что ее три старшие дочери, которые где-то прятались, изнасилованы и убиты. С бабушкой на нервной почве случился заворот кишок, и она умерла. Тогда медицинской помощи практически не было.

Мама окончила Минский еврейский педтехникум (его тогда называли в шутку «Евпетух»). В 1930 году ее послали учительницей в райцентр Гомельской области Ельск. Там она познакомилась с отцом.

Дед, Кравец Мордух Иосифович, из Полесской деревни Санюки, был деревенским портным, потомственным, как видно по фамилии. Со своей швейной машинкой он переезжал из одной деревни в другую и так кормил семью. У отца были три сестры и брат. Еще в школе папа занимался общественной работой. Его пригласили в Ельский обком комсомола. Там он и познакомился с моей мамой.

Родители полностью поддерживали советскую власть. Однако, когда папу хотели сделать директором леспромхоза, «выдвиженцем», мама его отговорила. Она заявила ему, что выйдет за него замуж, только если он пойдет учиться. Теперь, прожив жизнь, я понимаю, как она была права.

Папе дали комсомольскую путевку на учебу в Могилевский пединститут. Он стал секретарем комитета комсомола пединститута. Пока папа учился, родители жили во дворе дома Бобовика в кирпичной пристройке. Там было много крыс. Мама работала учителем истории в школе № 3.

В 1936 году папа окончил институт, и в том же году туда поступила мама.

Поскольку людей с высшим образованием тогда было недостаточно, тем более комсомольцев, папе предложили на выбор работу в НКВД или в партии. От НКВД он отказался по причине слабого состояния здоровья (это, безусловно, спасло ему жизнь). Папу назначили заведующим парткабинетом Могилевского горкома партии. Этот парткабинет занимал все этажи здания бывшего Дворянского собрания (современного городского центра культуры). На первом этаже была библиотека. У папы был кабинет, небольшой зал.

*Дом Труда,
где размещался
парткабинет
горкома
партии.*

*Фото
1930-х гг. из
фондов Мо-
гилевского
областного
краеведче-
ского музея*

Когда родителям отказали в ведомственной комнате института, они нашли квартиру на Девбаре. На первом этаже двухэтажного дома жил пожилой мужчина по фамилии Зохан, хозяин. Мы снимали на втором этаже 2 большие комнаты. Еще одну комнату снимала женщина с ребенком. Кухня у нас была общая, коммунальная. Для меня



БССР Могилёў Дом працаў

осталось загадкой, почему этот дом не был национализирован. Зохан был церковным человеком, но к маме он относился с большим уважением, обращался: «Мадам Кравец».

Мама ежедневно ходила в буфет горкома партии, где работникам горкома (а папа считался их работником) давали продукты. Как-то, вернувшись из буфета, она сказала, что семьи не только руководителей, но и работников среднего звена руководящих органов, вместе с партийным архивом, вывозят из Могилева. Папа в это время был в санатории.

26 июня 1941 года мне исполнилось 7 лет. В этот день мы уехали в эвакуацию.

Был очень жаркий день, но мама сунула мне в руки теплое пальто. Сама она несла моего брата

Ида Комиссарчик и Борис Кравец, 1938 г., Могилев



Якова, 1940 г. р. С нами была еще домработница Аня, 17 или 18 лет. Мы погрузились в грузовики-полуторки. В одной из машин везли архив, а на других машинах находились жены работников горкома с детьми. Из мужчин были только шоферы. Нас довезли до города Рославль. Там принесли архив, а семьи выгрузили в центре города в каком-то скверике. Ночью, еще до отправления поезда, я стал свидетелем очень страшного эпизода, который хорошо запомнил. Было темно и тихо. На станцию выехал грузовик, в кузове стояли двое мужчин с винтовками и держали за руки какую-то женщину. Она громко кричала: «Все! Я свое дело сделала! Москва будет захвачена!» Это произвело гнетущее впечатление. Женщины долго об этом говорили.

Мы ехали в товарном составе с вагонами, оборудованными нарами. Нас привезли в Саратовскую область на станцию Екатериновка. Там мама с братом на руках, я и Аня слушали по большому репродуктору речь Сталина.

Учителя нужны были в деревне, а не в городе, и нас отвезли в село Саластуха Саратовской области. Принимали очень хорошо. Поселили в дом молодой семьи. В передней части дома жили хозяева, в одну комнату поселили нас, а в другую — директора могилевской школы № 3. Его позднее взяли в армию, и он погиб на фронте. Перед уходом он отдал маме свое пальто, и в этом пальто она проходила всю эвакуацию.

Папа вернулся в Могилев из санатория в самом начале июля, пошел в военкомат и его сразу мобилизовали. Ему, как капитану, сразу под начало дали группу из 40 или 50 человек, отправили пешком в Чаусы. Там всех обмундировали,

вооружили и посадили на поезд. Им очень повезло. Они успели уехать до приезда немцев, а то бы, безоружные, все погибли. Отца направили под Москву в резервный фронт, назначили политруком полевой части.

В ноябре 1941 года немцы приближались к Москве. Большинство эвакуированных уехали из села. Однажды мама сказала, что обошла все село, но никто ничего из продуктов продавать не хочет, берегут в ожидании немецкого наступления. Нам дали сани, отвезли по снегу на станцию Екатериновка. Аня с нами не поехала, она осталась в селе.

Я хорошо помню, как мы где-то с неделю жили прямо на станции Екатериновка. Постель на полу была покрыта белой простыней и подушка была в белой наволочке. Круглосуточно горел свет. Каждый день нам выдавали обед.

Сесть на поезд было невозможно, творилось что-то невообразимое, жуткое, но однажды мама предъявила документы, что ее муж политрук действующей армии. Проводник сказал: «Расступитесь!» И нас пропустили!

Недавно в США я слышал передачу «Прямой эфир» местного русского канала RTN. Ведущий сказал фразу: «Ай, какой-то там политрук...» Если бы я был рядом с ним с оружием, я бы его убил! Как можно так говорить о тех, кто спасал от фашизма, о моем отце?! Это же чудо, что мой отец, политрук, еврей, остался жив! Нельзя быть неблагодарным стране, которая нас, евреев, спасла.

На поезде мы приехали в Саратов. На вокзале встретили учительницу из Могилева, Менькину, с тремя детьми: Маратом, Лилей и Майей. Поехали дальше. Тонкие «польские вагоны» промерзали, на

полу лежала солома. Сетку с хлебом у нас украли. На остановках поезда мама продавала свою одежду из чемодана. Помню, как она меняла на хлеб свою шелковую комбинацию.

Довезли до Уральска. Там нас тоже хорошо приняли, вкусно кормили, потом на подводах доехали в село Чувашинск. Летом 1941 года был прекрасный урожай зерновых. В домах стояли огромные лари, полные муки. Так что и мы не голодали. Нас поселили в избу председателя колхоза. Сам он ушел на фронт, а дома оставались его жена с детьми. Спали на кухне. Мама уходила на работу в школу, а я нянчил брата. Пока мама была на работе, я ел хлеб с луком, потом мама готовила.

В этот же дом поселили двух девушек-казашек, выпускниц детского дома, в одинаковых зеленых пальтишках. Оказалось, что девушки были больны туберкулезом. Мама стала искать другое жилье, но все боялись нас пускать. Тогда Менькина, которая заведовала местной семилетней школой и жила в учительской, поставила в комнате еще одну кровать, и мы втроем на ней спали. Вскоре приехал муж Менькиной, Рожанский, которого не взяли в армию по состоянию здоровья. Он стал уполномоченным райкома по хлебозаготовкам. Так все вместе и жили. В 18 лет их дочь Майя Рожанская ушла в Красную армию добровольцем.

Летом 1942 года учителей посылали работать на «плантации» — заливные овощные огороды. Чтобы мама могла там работать, Яшу взяли в ясли. И меня тоже взяли с условием, что я буду сам смотреть за братом. Я стирал его платье в речке Чиган и еще успевал искупаться, сушил на

плетне, укладывал спать после обеда. Нас кормили три раза в день.

Осенью 1942 года Яша неожиданно перестал ходить. Проезжавшая через село медсестра поставила диагноз «костный туберкулез». Мама поехала в районный центр. Там брата положили в гипсовую кровать и это его спасло. Дочь председателя колхоза, ровесница брата, которая тоже заразилась от казашек, умерла от туберкулеза легких.

Летом 1943 года мама добилась размещения брата в костнотуберкулезный санаторий в Алма-Ате. Учительница этой школы помогала маме довести брата до санатория. Дорога заняла целый месяц. Пока мама ездила, в колхозе мне выдавали хлеб и по пол-литра молока в день. Учительница Белла Борисовна Эпштейн, эвакуированная из Рогачева, немного присматривала за мной.

Институт политруков во время войны был ликвидирован, и папу вместе с другими офицерами с высшим образованием направили на учебу в училище связи в Ульяновск, затем назначили начальником штаба связи отдельной артиллерийской бригады в Прибалтике.

От Ульяновска до Уральска недалеко. Так что один раз за войну зимой 1944 года мы повидались. Меня позвали с уроков, а в учительской сидит капитан — мой папа! Утром он уехал. В следующий раз мы встретились уже только после войны.

Зимой 1944 года местная жительница пустила нас с мамой и Беллой Эпштейн с ее дочкой Мирой к себе в летнюю кухню. Это была голодная зима. Мама имела деньги, чтобы покупать продукты: ее зарплата, пособие папы, потом деньги стал высылать и муж старшей сестры мамы, погибшей в минском гетто. Но никто ничего не продавал.

Скот падал от голода. Выдавали только по 100 граммов муки в день, купить у колхозников можно было коровий или бараний жир в жестяных мисках. Из этого мама варила суп-затирку. Все время хотелось есть.

Весной колхозники и учителя ходили в поле собирать колоски. Как-то мама с Беллой Эпштейн пошли собирать колоски и заблудились в степи. Плутали всю ночь. Утром мы с Миррой увидели, что мамы не вернулись домой. Я очень испугался. В школе тоже обнаружили отсутствие учительниц, отправились их искать и встретили, когда они уже возвращались домой. В то время в степи бродили дезертиры. Мама очень боялась, но Белле ничего об этом не сказала.

Вскоре выяснилось, что колоски чем-то заражены. Многие тогда отравились. Была даже комиссия из Москвы для предотвращения

*Марат
Кравец с
родителями
и младшим
братом,
Могилев,
январь
1953 г.*



эпидемии. Мы не отравились, но болели малярией. Ужасное заболевание.

Как только освободили Минск, наши учительницы направили запрос на возвращение в Белоруссию. Добирались тяжело, долго, со множеством пересадок. В Саратове я страшно испугался, когда поезд отгоняли на маневры, и мы с Мирой ненадолго остались без мам. Потом каждую пересадку я дрожал от страха.

В Кричеве, чтобы доехать до Могилева, мы сели на открытую товарную платформу, а там оказались авиационные бомбы. Конечно, нас прогнали. Потом нашли состав с углем и на нем доехали.

14 августа 1944 года мы уже вернулись в Могилев. Вокзал был абсолютно пустой. Город был разрушен. Мама нашла подводу, и мы приехали на Дебрю. Но к моменту приезда в нашей квартире уже жил офицер НКВД.

Хозяин жилья, которое мы снимали, Зохан, во время войны был старостой православной церкви. Его никто не трогал, и наши вещи были целы. Когда Зохан увидел меня, мальчика, которого до войны прекрасно одевали, ободранного, в равных штанах, он вынес из глубины своего дома маме отрез черной ткани: «Вот, сшейте ребенку штаны».

Зохан рассказывал, что немецкий патруль, который обходил район Дебри, наткнулся на еврейскую семью. Он слышал крик, кого-то убили. Соседи донесли, что в доме Зохана тоже жила семья еврея-коммуниста. Немцы поднялись на второй этаж, взломали ящик письменного стола папы, где уже было пусто, ничего в доме не взяли и ушли. Были бы мы там, нас бы тут же прошили автоматной очередью.

Осенью 1945 года вернулся папа, а потом в 1946 году привезли и брата.

При всем диком антисемитизме, с которым я сталкивался при жизни в СССР, в Могилеве, я благодарен тем, кто помог нам уехать в эвакуацию и остаться в живых. Если бы нас не принимали другие республики, мы бы погибли, как другие европейские евреи.

Кузьник Ким Абрамович, 1930 г. р.



Я родился в Могилеве. До войны родители, брат, 1941 г. р., бабушка и я жили на третьем этаже в 2-комнатной квартире с отдельной кухней и печкой в доме Ленина. Мать, Ханна Захаровна Махлина, 1912 г. р., работала на конфетной фабрике, будущем винзаводе. Отец, Абрам Танхум Менделевич Кузьник, 1908 г. р., был хлебопеком. Потом заведовал райторготделом в Осиповичах, как 25-тысячник был направлен председателем колхоза «Веккер» (до 1934 года), работал заведующим райторготделом в Рогачеве и в Западной Беларуси. Перед войной он занимал должность заместителя председателя Облпищепромсоюза. Политруком участвовал в финской кампании, а в самом начале Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года, его призвали в армию. Он ушел, и больше мы его не видели никогда. Отец был коммунистом и был влюблен в эту политику.

Я учился в первой школе. До войны окончил четыре класса. Я бегал по всему Могилеву от Быховского базара и до тюрьмы, где теперь Дом

Советов. Бегал на Советскую площадь смотреть на учения воинской части, в Дом пионеров. Помню, как взрывали собор, где теперь гостиница «Днепр». У нас дома заклеивали окна, чтобы не вылетели. Ни в школе, ни дома таких понятий как «национальность», «еврей» у нас не было, а национальные различия проявились в войну и после войны. Я помню, до войны у нас шел фильм «Семья Оппенгейм». Тогда я впервые стал понимать, что фашисты против евреев.

Как-то мы, мальчишки, человек пятнадцать, увидели военного и что-то спросили у него. Он не отвечал. Мы окружили его и привели в воинскую часть, которая была рядом. Нас было много, он не мог сопротивляться. Потом уже узнали, что он диверсант и не один был. Их с ракетницами посылали.

*Ким Кузьник,
Могилев,
1960 г.*

22 июня организатор от домоуправления повел нас в Пашково в лес. Там, по дороге, в 12 часов услышали, что война началась. Мы стали говорить, что немецкие рабочие, коммунисты не будут воевать. Мы вернулись домой. На завтра я проводил отца, а 28 июля выехали из Могилева в эвакуацию. По дороге я отстал от поезда, несколько дней догонял. Наш эшелон бомбили. Помню, бабушка отказалась выходить из вагона, а все кто выскочил, и были убиты. Я увидел девушку, которая лежала лицом



вниз. Потряс ее за плечо. Говорю: «Бомбежка кончилась!» А она мертвая.

Мы попали в Удмуртию, потом — в Саратовскую область. В 1943 году переехали поближе к Могилеву, в Сураж, а через месяц — в Сумскую область.

До возвращения в Могилев в 1946 году я не учился. Здесь поступил в ремесленное училище. До 1993 года работал на кожевенном заводе.

Левит (Киреева) Екатерина Федоровна, 1925 г. р.



Я родилась на хуторе недалеко от Могилева, там было всего 8 домов. Отец рано умер, и когда мне было 2 года, мама вышла замуж второй раз. У мамы и отчима родилось еще четверо детей. Отчим Митрофан всегда дружил с евреями, потому что работал с ними. На хуторе был смолокурный завод. Заведующим был еврей. У него был свой большой деревянный дом. Зи-

мой он жил в доме один, а семья жила в городе, на Дубровенке. Летом приезжали его жена и четверо детей. Я хорошо их помню, мы играли вместе, а отчим на заводе работал.

Когда начали всех объединять в колхозы, смолокурный завод закрылся. У нас забрали корову, свиней и все другое в колхоз. Отчим стал работать пастухом, а в 1937 году он умер. Остались мы одни. В школу я ходила только две зимы, ходила только до того времени, когда снег выпадал, потому что школа была очень далеко от нас.

В 1940 году нас переселили в деревню Межи-сетки, в 14 километрах от Могилева. Перевезли

наш дом и один сарай, следующим летом должны были перевезти остальные постройки. Умер младший братик. Осталось нас четверо: три сестры и брат. Голодно было.

Мне было 11 лет, когда мама отдала меня знакомым в домработницы в могилевскую еврейскую семью. Это была рабочая семья. Хозяйка Бася работала в веревочной артели, а хозяин, Цейтлин Самуил Евелевич, — в овощном магазине на Луполово, недалеко от пивзавода. В семье было пятеро маленьких детей: трое постарше и двое младших — близнецы. Относились ко мне хорошо. Никогда меня не обижали, не отделяли от своих детей. Если им что-то приносили, то и мне тоже.

Мы жили на Дубровенке, у самой реки, на Щемилловке, со стороны Первомайской первый дом слева. Первый этаж — кирпичный, второй — деревянный. В доме жило две семьи. Второй семьей были Шнайдеры с двумя детьми. Их отец был портным. Дом им не принадлежал, квартиры снимали. После войны дочь Цейтлиных, Софья Абрамовна Шнайдер, работала учительницей в школе № 3, где училась моя дочь. Во время наводнения 1942 года верхнюю часть дома полностью смыло и сейчас от дома ничего не осталось.

Тогда в пекарне на Дубровенке напротив театра покупали вкусные круглые булки — халы. Самуил Евелевич часто приносил нам и булки, и арбузы, и разные фрукты, и виноград, который я больше всего любила. У Баси была мама Циля, которая ей помогала. Она жила около Быховского базара.

Мама работала в колхозе, денег тогда практически не платили. Раз в месяц мама приходила к Цейтлиным и забирала какие-то деньги за мою

работу, чтобы купить керосин и что-то еще необходимое в деревне. У мамы была только одна корова и маленькие дети.

Я не знаю почему, но за несколько лет до войны Цейтлина арестовали. Платить мне за работу стало нечем. Старших детей устроили в детский сад, а младших отдали бабушке. Меня хотели устроить на работу в детский сад, но я была несовершеннолетняя и меня не взяли.

Мне пришлось уйти. В мою комнату на квартиру Цейтлины взяли парня Мишу. После войны я встретила его сестру. Она рассказала, что знакомая Цейтлиных, учительница, когда началась война и бомбежки, забрала их к себе в деревню. Слышала, что там всю семью Цейтлиных расстреляли.

А тогда, до войны, Цейтлины устроили меня в семью Соркиных. Отца звали Самуил, мать — Мария Ильинична. Там было только двое детей. Меня взяли хозяйкой. Их 11-летний сын Леня был проблемным ребенком, хоть и учился в обычной школе, за ним следить надо было. Я должна была приготовить еду, накормить его, проводить и встретить из школы, если надо — погулять с ним. Дочь Эся потом стала учительницей немецкого языка.

Мария Ильинична работала директором детского сада, она меня подготовила к поступлению в школу. Купила мне букварь, тетрадки и после работы проверяла, как я выполнила задания по письму и чтению.

Началась война. В Могилеве началась бомбежка, уже бросили первую бомбу на Дубровенку. Хозяина забрали в армию, он вообще работал в страхкассе, но был на каком-то военном счету.

Домой Мария Ильинична меня не отпустила. Эся была в пионерлагере в Печерске. Мы взяли котомки и пошли пешком в Печерск забрать Эсю и оттуда ехать в эвакуацию. Договорились, что Эся позавтракает, ей дадут с собой хлеб, булки, и мы будем на станции ждать поезд.

Прямо в Печерске на станции меня нашла моя мама. Она оставила троих детей и прошла через фронт. Соседи подсказали, что мы пошли в Печерск. Мама забрала меня и повела домой. Мария Ильинична говорила: «Куда вы ее берете? Идет стрельба, бомбежка».

Но мама так решила, и пришлось пойти. Дошли до шелковой фабрики. Лежали трупы военных, лошадей, лужи крови. Летели снаряды. Ехали танки.

*Екатерина
Киреева с
мамой, Мо-
гилев,*

В Буйничах мы заскочили в бомбоубежище.

Там лежали три застреленных советских военных, по-моему, офицеры. Из планшетки одного из них я вытащила несколько фотографий и забрала их с собой. Мама потом заставила эти фотографии закопать. Когда стрельба на какое-то время прекратилась, мама взяла меня за руку и повела дальше. Маме говорили: не ходите, вас застрелят. Мама отвечала, что не идти не может, потому что дома ее ждут трое детей.

Когда пришли в Солтановку, на мосту мы



1950-е гг.

первый раз увидели немцев. Они нас не тронули. Я говорила и понимала по-еврейски, поэтому понимала и немцев. Я сказала, что нам надо «на хаузе», и нас пропустили. Когда пришла домой, то плакала целые сутки. Я говорила маме: «Как ты могла пойти, оставить детей, а если бы нас убили?»

В Межисетках был фронт, через него шли танки, и нас эвакуировали в деревню Заболотье, за 15 километров от шоссе. Мы взяли с собой корову. На корову посадили младшую сестру Олю. Взяли с собой хлеб, что мама испекла. Что-то закопали в ямку, все остальное осталось дома.

Жили мы в Заболотье около месяца. Люди кормили. Потом послали человека посмотреть, как там в деревне, и он сказал, что уже можно возвращаться. Вернулись. Вся земля была перепахана. Сарая и пристройки к дому не было. Из

Первые дни оккупации в одной из деревень под Могилевом, 1941 г. Фото из коллекции Олега Давида Лисовского



досок сарая и сеной немцы строили бункеры. Стояла только хата. В хате тоже ничего не было. Осталась только одна курица.

Уцелело колхозное поле с морковкой, свеклой и другими овощами. Все ходили туда, копали и собирали овощи. Так прожили до января. Просить помощи не у кого, никто ничего не даст. У мамы от голода уже распухли ноги. У мамы были родственники, сестры, но нам никто никогда не помогал.

В деревне через дорогу от нас стояла немецкая кухня. Там готовили еду и куда-то отвозили. Я сказала маме, что схожу и попрошу у них покусать. Мама отговаривала, говорила, что неизвестно, что немцы со мной сделают. Я ответила, что «или так умирать, или так умирать». Пришла к дому, в котором сделали кухню. Стою. Выходит пожилой немец и спрашивает, чего я хочу. Я сказала, что хочу кушать.

— Ку-ушать? Чтобы кушать, работать надо!

— Я буду работать.

Немец засмеялся: «Ах, кляйне цвибель!» (Ах, маленькая луковичка!)

— Нет, я не цыбулина! Я Катрин.

— Юдише?

— Найн.

— А откуда язык знаешь?

— В школе учила.

— Ты же маленькая, а что ты можешь делать?

— Все.

Он меня привел в комнату. Там стоял большой котел. Котел надо было вымыть. Он еще пошутил, что когда я влезу в котел, он меня закроет. Я тоже пошутила: «А кто же кушать будет?»

— Не бойся, у меня дома такие же дети есть.

Немец принес ведро, мочалку, тряпки и сказал, чтобы я хорошо вымыла котел. Ему мыть было трудно — большой живот. Он запер меня на ключ и куда-то ушел. Я вымыла котел, пол, отскребла стол. Все переделала и села. Вернулся немец, все посмотрел и говорит: «Шон! Гут!» и все плечами удивленно пожимал. Потом даже позвал второго немца, помоложе, чтобы показать.

— А где ты работала, что так все умеешь делать?

— Домработницей.

— Стирать можешь?

— Могу, только мыла нет.

Принес он мне половину кирпичика хлеба и банку с мукой или манкой. Сказал, чтобы мама сварила суп. А вечером он попросил вернуться, принести котелок и никому ничего не говорить.

Пришла домой и мама сразу спросила: «Ничего они с тобой не сделали?»

— Что ты, там пожилые люди.

Вечером немецкий повар, его звали Руди, Рудольф, налил мне полный кувшин супа, дал хлеб и тюбики конфет. Я отнесла все это домой, вернулась, чтобы еще раз помыть котел, чтобы он чай приготовил. Мама не хотела меня пускать, но я сказала, что это нечестно.

Я стала ходить на кухню каждый день. Мы просто «отжились». Каждый день давали что-то поесть, то крупу, то еще что-то. Однажды Руди привез из Германии в подарок целую банку яичного порошка. Когда я чистила картошку, шелуху можно было забирать домой. Там ее мама перемывала, сушила, толкла в ступе и пекла коржи. Иногда можно было разрезать и бросить в шелуху и целую картофелину. Однажды на кухню

привезли кабана. Кожу кабана с прослойкой сала повар отдал мне домой. Дал даже немного соли, чтобы мама посолила. Мама обсмалила кожу, засолила и мы потом долго это сало ели.

Я работала до января 1943-го. Год. Потом кухня уехала. На прощание Руди сказал, что после войны приедет за мной, отвезет в Германию, где у него есть свои хорошие девочки, и найдет мне хорошего парня. Больше Руди я не видела.

В Межисетках с немцами жил переводчик Борис. Он тоже приехал из Германии. Мать его была русской, поэтому он хорошо знал язык. Как-то Борис пришел к маме и сказал, что хочет на мне жениться. Мать сказала, что я еще слишком молода и вообще, пока идет война, никаких свадеб быть не может и если он меня любит, то может подождать скорого окончания войны. Борис вспыл: «Тогда я ее убью!» Схватил меня и насильно поцеловал. Я плюнула ему прямо в лицо. Борис сказал, что такого оскорбления он, солдат, не простит. Но все же он был неплохой парень, потому что не тронул меня.

В 1942 году стали забирать в Германию. Мы уже немного обжились, вырастили какие-то овощи. Немец с переводчиком Борисом, полицейские стали ходить по домам, записывать молодежь. Я объясняла, что я самая старшая в семье и надо помогать маме.

«Германии тоже надо помогать, — говорил переводчик. — Если ты не поедешь, как остальная молодежь, отправим маму с детьми в лагерь».

Мы с мамой плакали всю ночь.

«Опять тебя дома не будет. Как мы без тебя?», — говорила она. Но если маму заберут в лагерь, я же тоже останусь одна, никому не нужная.

Утром я спряталась. Пришел переводчик и полицейский.

— Где ваша дочка?

— Пошла в другую деревню.

— Ну так собирайте детей. Поедете в город, а там в лагерь.

Мама стала плакать, просить.

— Я сказал, что надо ехать в Германию. Едут все, даже добровольно.

Мама вышла на улицу. Собралось много людей. Я вылезла из подпола и попросила маму отпустить.

Так в конце января 1943 года я уехала из дома. Было много молодых людей из Межисеток, Черноземовки, Сельца — целая крытая машина. Всех привезли в кинотеатр «Чырвоная Зорка». От машины до двери были такие деревянные заграждения, чтобы шли один за другим и не разбежались. Там переночевали. Назавтра приехала машина. Всех погрузили и повезли на бывший аэродром, прямо в лагерь для военнопленных на Луполово. Там были навесы, где когда-то стояли старые самолеты, и уйма пленных. Там они замерзали, умирали от голода и холода. Там их и сжигали. Нас завели в баню. Обстригли все волосы, что есть на теле. Прожарили от вшей нашу одежду. Мы сидели в бараках с двухэтажными нарами. Дня через два нас погрузили в вагоны-телятники и отправили в Германию. Дали с собой по два кусочка хлеба, кусок сыра и все. Ехали очень долго. Было несколько остановок на поле. Вагоны были настолько переполнены, что нельзя было сесть, а если встанешь, то сесть уже не сможешь, так было тесно. На полу была подстелена солома или опилки. Было очень холодно.

Приехали в специальный сортировочный лагерь в Германии. Помню, как шли по глубокому снегу километра три. В лагере всех рассортировали по баракам. Бараки были холодные, дощатые. Стояли круглые железные печки, но топить было нечем. Давали ведро брикета где-то раз в неделю. Гоняли на расчистку снега. Кормили очень плохо. Давали суп из чечевицы, где «крупина за крупинной бегаёт», очень мало хлеба.

Как-то немец пришел нас выгонять на работы, а я лежу наверху на нарах и говорю, что лучше бы принесли нам хлеба, даже свиньи есть хотят, а мы же люди. Немец ответил: «Война, война...»

— Я больная, слабая, идти не могу. Стреляй меня!

Тогда меня не взяли на работы.

Каждый день приезжали бауэры и забирали себе людей на работы. Всех выстраивали, а бауэры шли и смотрели, кого взять, и записывали их номера. В первую очередь брали высоких,

Женщин отправляют на на принудительные работы в Германию. Источник: www.ausstellung-zwangarbeit.org/



крепких парней и здоровых девок. А я, маленькая и худенькая, никому не была нужна. Многие умирали от голода, холода, тифа. Там было большое кладбище. Под конец в лагере осталось мало людей, человек 200. Я самая малая. Никто меня не берет. Со мной была девушка, то ли Ася, то ли Бася. Я по облику ее думала, что она еврейка, хоть и говорила, что грузинка. Еще был парень из Витебска. По его выходкам я знала, что он еврей. Никто его не выдал.

С Асей мы подружились. Она посоветовала в длинные резиновые сапоги натолкать что-нибудь и побольше надеть одежды, чтобы казаться толще. Я так и сделала. Приехали покупатели из Норвегии. Все построились. Записали номера, а один из приезжих на меня все смотрит и говорит другому: «Ну что ее брать? Это ж море, не поезд».

— Ну и что? Умрет, опустим в море.

— Ладно, возьмем. Эти малые — выносливые.

Тогда взяли и Асю, и девушек из Межисеток. Ехали мы поездом, потом на машине. Привезли нас в Данию. Несколько человек заболело тифом, и нас оставили на карантин. Одну женщину, Аню из Минска, схватили прямо на базаре. Она была беременной, и в Дании у нее родился семимесячный мальчик. Его судьбу я не знаю, но ребенка я видела. Женщину забрали в больницу. Лагерь был оборудован в трехэтажном здании, в каком-то учебном заведении, наверное, институте. Помню, что полки были заложены книгами и тетрадками, и напротив был институт.

Была весна. Я уговорила девушку Люсю сходить со мной в город, попросить хлеба. Во дворе за туалетом, куда мы ходили, была проволока. Мы проволоку раздвинули и пошли в город.

По-немецки там не понимали, но мы смогли объясниться и попросить еды. Как узнали, что мы русские, нам наложили две сумки с хлебом, продуктами. Когда возвращались, Люся успела проскочить под проволоку и спрятаться в туалете, а я зацепилась сумкой за проволоку. Сработала сигнализация. Все зазвенело. Меня схватили. Тогда меня избili. Положили на лавку. Раз пять перетянули кнутом через спину. Я сразу потеряла сознание. Потом девушки рассказывали, что патрульный, наверное, датчанин, схватил того, кто меня бил, за руку: «Хватит, хватит! Ты ее убил!» Меня отлили водой, принесли какой-то халат, посадили в холодную. Ночью пришел патрульный и перевел меня в другое подвальное помещение, где были теплые трубы. Утром он опять пересадил меня в карцер, чтобы никто не узнал, что он меня пожалел. Больше я под проволоку не лазила.

Но когда датчане узнали, что мы голодаем, нам стали привозить хорошие обеды два раза в день: и молоко, и хлеба сколько хочешь, и суп, и кофе или чай, даже бутерброды с колбасой. Там мы отжились. Работать мы никуда не ходили.

От тифа умерло два человека. Когда карантин кончился, нас посадили на пароход и отправили в Норвегию. Укачивало, конечно, тошнило. Привезли в Осло. Оказались, что там уже есть работники, и нас отвезли в Бодо на рыбную фабрику. Поселили в бараке. В комнатах было по 4, 5, 6 или 7 человек. Я попала в комнату на 4 человека.

Два дня нам дали отдохнуть, сводили в баню, дали новую одежду: штаны, рубашки, платья. Потом привели в цех. Там делали рыбные консервы. Работать надо было на конвейере. Надо было чистить, нарезать рыбу, потом ее кидали в огромный

котел и варили (один парень упал в котел и сварился). Работали и русские, и местные. Русских был целый барак, сотни две.

Я с работой на конвейере не справлялась, не хватало сил и роста. Однажды ящик с мороженой рыбой упал мне на ногу и сломал пальцы. Лежала в больнице. Меня направили на легкую работу, сказали, что не смогу стоять. Попала я на норвежскую кухню. Там готовили для норвежских рабочих и отдельно для русских. Еду для русских подавали через окно норвежской кухни. Для немцев готовили в отдельном помещении через коридор. Я убирала, мыла котлы, посуду, жарила рыбу. Как-то я зашла на немецкую кухню позвать норвежскую повариху Юрин. Немецкий повар спросил, где я работаю. Он попросил убрать ему кладовку. Я все у него убрала, разложила. Повар принес мне белую булку, селедку. Так меня перевели работать на немецкую кухню.

Как-то я так сильно ошпарилась, что до сих пор боюсь горохового супа. Повар налил в «тарину» (супницу. — *Ред.*) очень горячий суп, прямо с плиты, чтобы я отнесла в столовую военным. Дверь открывалась в обе стороны, и когда я выносила супницу в зал, кто-то зашел и толкнул ногой дверь. Супница опрокинулась прямо мне на грудь. Хорошо, что на лицо не попало. У меня до сих пор пятна от ожогов остались. Повар сразу подбежал, снял халат, разорвал кофточку, чем-то смазал, приложил бумагу, принес чистую одежду. Долго заживал ожог.

Комендантом в общежитии была немолодая немка фрау Краузе. Это была красивая, высокая черноволосая женщина лет 60. Она жила с

мужем. Там вообще все немцы были пожилые. Ее муж с собакой работал на карауле, проверял, чтобы те, кто идет с фабрики, ничего не крали. А фрау Краузе проверяла, чтобы в комнатах, туалетах было все чисто, чтобы пол был чистый, кровати застелены хорошо. Как-то в выходной я взяла одеяло постирать. Стирала прямо на зацементированном полу. Фрау Краузе увидела, как я его стираю, и ей понравилось. Она спросила, кто меня научил так работать, мама? Ответила, что мама, не буду же я объяснять, что мама меня в 11 лет работать чужим людям отдала. Фрау предложила мне помыть окна у нее дома. Она договорилась с охраной, и я пришла к ним домой. У дверей стояла большая собака. Фрау строго приказала ей не трогать меня, и собака лежала и посматривала на меня, пока я там ходила. Она мне тоже говорила, что когда кончится война, она меня заберет в Германию себе в дочку (потом я в Могилеве встретила женщину-еврейку, учительницу музыки, очень на Краузе была похожа).

Освободили нас англичане. Накануне вечером фрау Краузе попросила зайти к ней домой. Она начала давать мне посуду, но я отказывалась. Я взяла пару простыней и пуховое стеганое одеяло, пару платьев (потом это все по дороге у меня украли). Я спросила, куда они уезжают.

— Не знаю, — ответила фрау. — Может быть, туда, — и она показала вниз.

— Вы поплывете на пароходе?

— Да.

Она сказала, что нас скоро освободят.

Утром никого из немцев уже не было. Нам кричали: «Выходите, война кончилась!»

Потом нам рассказали, что пароход, который вышел тем утром, затонул прямо около причала. Не знаю, там ли были Краузе.

Из Норвегии морем мы плыли до Швеции, оттуда машиной, поездом до Выборга и оттуда на другом поезде до Могилева. В Выборге нас проверяли, допрашивали.

В мае 1945 года я вернулась в Межисетки, и жизнь там была кошмарная. Я думала: лучше бы я еще 5 лет была в лагере. Было очень голодно и бедно. Собирали прошлогоднюю гнилую картошку, крапиву, клевер. В город я идти не могла — не было паспорта. С трудом устроилась работать на ремонт шоссежных дорог. Каждый день из Межисеток в Буйниччи ходили на работу и назад. Работала с ломом. Работа очень тяжелая, есть нечего. Обуви и одежды нет. Из ног лилась кровь. Два года я так промучилась, жить не хотелось. Мама отправила меня в город поискать знакомых. Я

*Екатерина
Федоровна
Левит с
сыном,
Могилев,
1950 г.*



не пошла на работу, а пошла в Могилев. Ходила, спрашивала и нашла Соркиных. Соркин воевал, вернулся с фронта. Он помог мне устроиться на работу. Сначала я разбирала завалы в городе, потом пошла работать на детскую молочную кухню.

Через несколько лет я вышла замуж. Со своим мужем я познакомилась в 1954 году. Хаим (Ефим) Гиршевич Левит три года ходил за мной, уговаривал выйти за него замуж. В их семье было десять детей. Его братья хотели, чтобы он женился на еврейской девушке, поэтому Фима с братьями не дружил. Зато родители, сестры Ефима и их семьи относились ко мне очень хорошо. Я и сейчас общаюсь с племянниками и их детьми. Я научилась готовить еврейские блюда, и отец мужа очень любил, когда я их готовила.

Отец мужа, Гирша Ицкович, был очень религиозным человеком. Он даже заменял раввина и снимал дом в районе Дубровенки, где устраивали

Екатерина Федоровна Левит с мужем Хаимом (Ефимом) Гиршевичем и дочерью, Могилев, 1950-е гг.



моления. В нашей семье отмечали все праздники: и еврейские, и русские. На русскую Пасху готовили русские блюда, на еврейскую — еврейские. Муж, когда пошел на пенсию, стал ходить в синагогу.

У нас было двое детей. Сейчас и дочь, и сын, и муж умерли. Внуки живут в Израиле и Германии. Так сложилась жизнь.

Ламнева Ольга Васильевна, 1929 г. р.



Я родилась в Могилеве. Наши предки были могилевскими мещанами и этим гордились. Отец и дед моей мамы были потомственными урядниками на железной дороге. Ходили с шашками на боку. У нас даже фотографии были, но их уничтожили в 1930-е годы, боялись.

Дом нашей семьи стоял на улице Быховской (сейчас улица Челюскинцев), недалеко от шелковой фабрики. Это была часть большой улицы от современной бани до хлебозавода. На одной стороне стояло 11 деревянных домов, построенных в 90-х годах XIX века нашими дедушками-прадедушками. В домах чередовались еврейские и русские владельцы. Мы все очень дружили. Справа стоял дом, где жили евреи Сироткины, они во время войны эвакуировались. Их дочка училась в одном классе с моей сестрой. Мы дружили с сестрами Розой и Сарой в одной семье, Файбой и Зиной в другой, братом и сестрой Либузер.

Больше всего в моей памяти и душе осталась семья наших соседей Соркиных. Ближе всего мы

дружили с ними. В семье Соркиных были мама Лейка, папа Абрам и трое детей: двойняшки Лева и Аня, 1925 или 1926 г. р., и Зяма, 1928 г. р. Зяма был моим ровесником и учился со мной в одном классе. Лева и Аня были на год старше моей сестры Лиды, дружили с ней и вместе учились. Папа Абрам был большим коммерсантом. Он то столовой заведовал, то буфетом, в последние годы перед войной заведовал буфетом на костезаводе. Абрам и работал, и детьми занимался. Жили они прекрасно. Жена Лейка ходила, как пава. Перед войной Зяма Соркин заболел. Говорили, что у него менингит. Зяму отправили в Минск, в больницу.

Мы жили с мамой, папой, сестрой Лидой и дядей, который до революции окончил гимназию. Он был очень грамотный и занимался дома со мной и сестрой, поэтому учились мы очень хорошо. Сестра всегда была отличницей, а я где-то так через год. Сначала мы ходили во всякие временные школы. Потом в школе металлистов несколько классов под школу отводили, в педтехникуме, а за три года перед войной построили большую и красивую школу № 11. Там я училась, начиная с третьего класса. Все дети нашей улицы дружили, вместе ходили в школу. Говорили все дети по-русски. Если мы какое-нибудь слово на еврейском языке употребляли в речи, то еврейские дети могли обижаться, думали, что мы насмехаемся.

Еврейскую Пасху мы ждали даже больше, чем свою, потому что нас всегда угощали мацей. Сами соседи мацу не пекли, откуда-то приносили в мешках. Сначала была простая сухая маца, а потом какая-то особенно вкусная. Они уже ее из простой мацы делали. Мацу и домой приносили, и на улице ели.

Мамы почти все до войны не работали, но у нас, как и многих соседей, дома было большое хозяйство: куры, свиньи, корова, огород.

В небольшом домике жили два старичка. Их звали Школьники. Один старичок очень красиво играл на каком-то небольшом духовом инструменте по утрам в субботу. Мы бежали к дому Школьника послушать музыку под окном. Какой был инструмент, мы не видели и не понимали, играет он просто или молится. Школьник был то ли раввином, то ли еврейским учителем, всегда по субботам ходил в здание, которое называли то школой, то синагогой. Этот деревянный большой двухэтажный дом стоял прямо напротив хлебозавода у выезда на Тишовку слева. Синагога уже не работала, когда я подросла, ее снесли еще перед войной.

Жильцов домов, которые стояли на противоположной стороне нашей улицы, я почти не знала. А те дома, которые стояли близко от костезавода, государство выкупило. Там сделали что-то вроде общежития для рабочих. Люди, которые там жили раньше и получили за дома деньги, говорили, уехали в Ленинград. Там было много евреев.

На месте современного здания «Белгосстраха» стоял большой деревянный дом, в котором жили родственники Соркиных, точнее, родной брат Абрама с семьей (они были во время войны в эвакуации, потом уехали в Израиль).

Когда началась война, Лейка вместе с племянником поехала на поезде в Минск за Зямой. А там больница вся в руинах, разбита, никого нет, спросить о больных детях не у кого. Весь Минск ворочается, никто ничего не знает о детях из

больницы. Лея решила, что Зяму убили. Она вернулась пешком в Могилев.

Тетя Лея ломала руки, плакала: «Мы еще живы, а Зямы уже нет, Зяму уже убили». К этому времени немцы уже стояли в Буйничах.

Шли бои. Город бомбили. Потом пришли немцы. Отец работал до войны на шелковой фабрике, возил на лошадях какие-то вагонетки, а во время обороны города ему выдали винтовку и поставили защищать фабрику. Но фабрику не бомбили и не захватывали. Она осталась целой. Так как фабрика была совсем близко от нашего дома, отец часто заходил домой. Когда уже немцы пришли, он винтовку оставил, вернулся домой. Во время войны мы ходили на фабрику, где располагались продовольственные склады, и меняли яйца на пшено.

Наш дом стоял недалеко от шелковой фабрики. Все говорили, что фабрику будут бомбить и окрестные жители уходили из домов к родственникам и знакомым или просто в овраги. Копали окопы, чтобы прятаться. Мы тоже ушли

*Завод искусственного
волокна,
первые дни
оккупации.
Фото 1941 г.
из коллекции
Олега
Давида
Лисовского*



из дома. Оставили курей, свиней, а корову таскали за собой.

Мы спасались от бомбежек на Менжинке (тогда это место называлось Большое Завалье), в окопах недалеко от дома бабушки. Там были сады и участки, которые раньше были частными, а потом власть их национализировала и организовала какое-то сельскохозяйственное предприятие, домов было мало. Во время войны там выкапывали окопы и прятались от обстрелов.

24 июля был бой за город. Мы прятались в окопах, вырытых в садах. Один окоп выкопал мамин брат Леша, ему тогда было 18 лет. В армию призвать его не успели. Второй окоп делал муж маминой сестры, инженер Громаков. В отличие от легкого окопа дяди, это было основательное и просторное строение, укрепленное бревнами. Бревна брали из недостроенных до войны домов, которые стояли здесь же рядом. Мама, как и каждый день, сходила домой покормить оставшуюся там скотину. Потом вместе с Алексеем возвращалась к нам на Большое Завалье, к дому бабушки.

Как-то Леша увидел бесхозных лошадей, поймал одну, оседлал и поскакал. На этих лошадях возили торф на фабрике. Случайной пулей его ранило в руку.

Мама только успела подоить корову, как пришли немцы. Стали говорить: «Васс, васс». Мы никак не могли понять, что они просят попить воды — «вассер». Сестра Лида догадалась. Но воды у нас не было, и мама поила их молоком. Вдруг немецкие солдаты стали кричать и показывать жестами, чтобы мы уходили, прятались. Все спустились в окопы. Мы с сестрой, соседи, родственники — все спрятались в хороший окоп,

построенный мужем тети. Людей было так много, что трудно было дышать. Мы были у самого дальнего угла, а мама — ближе к выходу.

Уже начало темнеть. Дядя с раненой рукой сидел на крыльце. Ему было больно. Баба в окопе плакала, стонала, причитала: «Ай, деточка ты моя маленькая, любенькая, ты уже помираешь...» Она думала, что ее младший сын уже умирает. Мама сказала бабушке, чтобы та не редела, она сейчас заберет брата и отведет в маленький окоп. Мама выбежала из окопа, побежала по дорожке. Мы слышали, как она кричала: «Леша, иди сюда, иди в окоп». А потом мы услышали очереди автомата: «Ды-ды-ды-ды-ды». Прибежал Леша и кричит бабушке: «Мама! Мама! Настю убили!» Всю ночь мы сидели в окопе. Мы с сестрой обнялись и проплакали до утра.

Рано утром всех быстренько из окопа выгнали. Мы из окопа выбегаем и видим маму, которая лежит на дорожке так, как упала. Я-то в свои 12 лет думала, что если мама умерла, то она сейчас лежит на лавке, свечка у головы стоит, и мы подойдем попрощаться. Я — в крик. Кто-то сунул мне корову в руки, и всех нас погнали в Печерск.

Военный штаб стоял в школе № 11. Большое Завалье уже немцы взяли, а за Малое сражались еще сутки или более. На время боя нас и отправили в Печерск дня на три. Эти три дня мы провели просто на улице. Нас подкармливали работники психбольницы, дядя что-то поесть приносил. Через три дня мы вернулись, похоронили маму на кладбище неподалеку. Вскорости вернулись и наши соседи. Лейка плакала: «Вот если бы была Настя, то мы бы знали, что происходит, она бы нас направила, она бы подсказала». Наверное,

если бы мама была жива, она бы нашла соседям место в деревне.

Однажды, в августе, пришли немцы и забрали Абрмку. Говорили, что забрали в гестапо. Немцы ликвидировали мужчин-евреев.

На Дубровенке было много евреев до войны. Кто-то уехал, дома освободились. Там в домах поселили остальных евреев. У нас их даже не сгоняли. Пришел приказ, что евреям надо переселяться. У них будет своя область, свое место жительства и им там будет хорошо. Ушли Тайба с мужем, Школьники, Соркины.

Мы не знали, куда их переселяют, но потом, когда Дубровенка разлилась, говорили, что это Божье наказание за гибель евреев, тогда я поняла, куда их сгоняли.

Еще до этого несколько немцев, 3—4 человека, прицепились к жене Либузера, которая, как и все мы, пасла свою корову в овраге: «Юде-юде», и забрали ее. Больше мы ее не видели. Потом исчез

Облавы на улицах Могилева. Фото 1940-х гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



ее муж с двумя детьми. Мы не видели, как его забирали. Просто их не стало. Мы думали, может быть, они ушли в деревню. Жили у нас большие мальчишки, постарше, они ездили с немцами. Мы спрашивали у них, где евреи, они отвечали, что им хорошо.

Дядя Ваня, высокий, здоровый мужчина, работал до войны санитаром в психбольнице. Когда началась война, но евреи еще были дома, дядя пришел и сказал, что всех больных расстреляли, расстреляли и врача. Среди больных же не все совсем ненормальные были, были и более-менее нормальные. От нас, детей, конечно, многое скрывали, но мы видели, как дядя долго плакал.

Когда Могилев освободили, дядю Лешу забрали на фронт и он погиб в Кенигсберге. Сидел на окне в освобожденном уже городе, и кто-то его застрелил.

В опустевшие еврейские дома сразу пришли люди. Там и плохие были люди, и хорошие, но

*Облавы на
улицах Мо-
гилева.
Фото
1940-х гг. из
коллекции
Олега
Давида
Лисовского*



мы с ними не общались. Перед войной на шелковую фабрику пришло много рабочих из деревни. Жили они тесно, по несколько семей в одном доме или на квартирах, поэтому сразу же еврейские дома заняли и тем имуществом, что там осталось, пользовались.

Муж моей тети, старшей маминой сестры Вали, Михаил Ефимович Громаков, который работал во время оккупации главным инженером могилевской управы, прятал у себя дома евреев и переправлял их в партизанские отряды. Это я знаю от моих двоюродных сестер. Младшая дочь Громакова Ирина, которая родилась в 1940 году, особенно хорошо запомнила сама и по рассказам мамы партизанскую связную Лушу, которая приходила в шубе. Луша навещала семью и после войны. Их семья жила на Виленской улице в своем доме, который достался им еще от родителей, напротив Польского кладбища, недалеко от того места, где было организовано гетто. Там же неподалеку жили и семьи сестер Громакова. Семья их дружила с семьями Агрестов, Гусаревичей, Басиных, живших неподалеку на Виленской и на Струшне.

Во время войны дядя своих друзей переправил в партизанский отряд, и они там спаслись. При освобождении Могилева, когда немцы уходили, его семья пыталась уехать, но вернулась. Громаков сразу пошел в органы. Больше его никто не видел. Видимо, его сразу в расход пустили. Когда вернулись спасенные им евреи Зинаида Гусаревич, Агресты и Басины из партизанского отряда и стали наводить справки в КГБ, рассказывать о сотрудничестве Громакова с партизанами, им сказали, что уже поздно. Скорее всего, Громакова сразу расстреляли. Семью его не трогали. А эти

еврейские семьи после войны помогали осиротевшей семье дяди. У Михаила Ефимовича осталось четверо детей.

Михаил Ефимович Громаков был нашим белорусским мещанином, как и наша семья. Был он очень грамотным, учился в Ленинграде. Во время войны был главным инженером Городской управы, ему было лет 40.

Нас собирали несколько раз во время войны для организации занятий в школе. Но занятия были недолго, по паре месяцев. Школу закрыли, там сделали госпиталь. Так я 6 класс пропустила и потом очень жалела, что после войны пошла сразу в 7 класс. Папа, дядя Ваня, мы с сестрой обрабатывали землю, корову доили. Молоко и яйца меняли у немцев на шелковой фабрике. На рынок почти не ходили. Так и жили.

Во время войны на шелковой фабрике было что-то вроде электростанции, а хлебозавод всю войну работал. Когда немцы отступали, они всех молодых работников хлебозавода отправили в Германию.

Сестру Лиду, 1927 г. р., тоже хотели забрать в Германию. Сначала забирали только тех, кто старше, до 1925 г. р. Но когда хлебозавод эвакуировали, брали всех. Кто-то донес, что в нашем доме есть девушка. К нам пришли ее забирать. Лида успела спрятаться в погребе, в ларе с картошкой. Была весна, картошку у стены уже выбрали и сестра там лежала. Три раза немцы спустились в подвал, зажигали спички, но сестру не нашли. Потом сели в зале и стали ждать переводчика. Они пытались у нас что-то узнать, но мы не понимали, что они говорят. Если в дом кто-то заходил: нищий, женщина за молоком,

то их запирали в отдельной комнате. Никого не выпускали.

Мы с отцом и немцами молча сидели в зале. Тихо. Сестра слышала, что звуков нет, и подумала, что нас забрали. А тогда во время войны было так: если кого-то забирали, то соседи приходили и разбирали все, что есть в доме. Лида решила закрыть хату. Она тихонько прошла из подвала по двору, подошла к дому и немцы заметили ее голову в окне. Вскочили. Лида услышала шум в доме и быстро захлопнула навесной замок, который всегда висел на входной двери. Немцы стали кричать: «Партизанен! Партизанен!», бить окна, выскакивать. А Лида по двору, по огородам убежала к бабушке. Бабушка ее сразу отправила к своей дочке, которая была врачом, и при немцах тоже местных жителей лечила. В 1946 году эта тетя умерла от болезни сердца.

Потом Лиду переправили к другой тете, мужем которой и был Громаков. Через месяц, когда уже уехали и полиция, и гестапо, сестру еще послали копать окопы. Она побоялась тогда отказаться. Уже никто не вспоминал о поездке в Германию.

Прошла война. Прихожу я домой и вижу, что на крыльце своего дома сидит Зяма. Там, конечно, давно уже жила другая семья — женщины, которая имела 5 детей и «дружила» во время войны с «казаками» («казаками» мы называли русских, белорусских и еще Б-г знает каких кавалеристов то ли добровольческой армии, то ли полицейского батальона, которые жили в еще царских казармах неподалеку от нас). После войны оказалось, что Зяму Соркина успели вывезти в эвакуацию. Первое время Зяму били припадки —

последствия болезни или потрясения. А потом все прошло. Он стал хорошим человеком. Мы всю жизнь дружили.

Была одна еврейская семья, которая уезжала в эвакуацию, они после войны возвращали свою корову, имущество. Остальные еврейские семьи не вернулись.

Мендельсон Неся Абрамовна, 1928 г. р.

Я родилась в Могилеве. Мама, Фридман (Каганер) Хая Эльевна, тоже родом из Могилева. Мамин отец был печником, бабушка — домохозяйкой. Мама работала в магазине «Динамо» на углу улицы Ленинской и Пожарного переулка. Сначала она была продавщицей, а перед войной уже заведующей.



Отец, Абрам Филиппович Фридман, был родом из Вильно. Там он пошел в Красную армию, приехал в Советский Союз, участвовал в поисках банд. Потом окончил курсы в Москве.

В 1937 году папа работал в Смолевичах Минской области начальником НКВД. Папа приезжал к нам и уезжал на работу. Я помню последнюю встречу перед его арестом. Мы, сестры, все лето проводили у него в Смолевичах, и когда он отвозил нас домой, навстречу ехала огромная машина. Обе машины остановились. Папа вышел из машины и водитель огромной машины тоже вышел. Папа сказал: «Я, вероятно, загремлю, потому что меня приглашают на Пленум приехать. Как я понимаю, это закончится арестом. Я уже готов

к тому, что меня после Пленума домой не отпустят». Я поняла, что от папы требовали компромат на некоего Домбровского. Папа говорил: «Но как же я могу дать на него компромат, если мы вместе 20 дней лежали в болоте и вылавливали банды?»

Семья Каганер. Стоит в центре: Хая Эльевна Каганер, мама Неси Абрамовны, сидят: Рахиль Каганер и Эля Каганер, бабка и дед Неси Абрамовны, Могилев, 1920-е гг.

Папа был осужден как «враг народа». В связи с тем, что он был близко знаком с системой, в ходе пыток ему удалось подписать признание по незначительной статье. Поэтому ему дали только 5 лет. Их он отсидел в Воркуте, Соликамске. Вернулся с поражением в правах. Он долгое время не мог найти работу. Папа, когда сидел еще, писал Сталину. На это письмо не было ответа.

Маму вызывали в НКВД, предлагали подписать компромат на отца. Но мама сказала, что отец — преданный Советской власти человек.

У меня было две сестры — Маня и Лена. Маня была студенткой пединститута. Начинала она



учиться в Москве, но перед войной за высшее обучение ввели плату за обучение, и мама не могла оплатить, тогда Маня перевелась в Могилев. Я училась в 6 классе школы № 7, в переулке Мигая, напротив швейной фабрики.

Мы жили в Краснопольском переулке, там, где рядом переулок Клубный за домом Сталина. Рядом, в смежной квартире, жила мамина родная сестра Рода (Розалия Эльевна). Муж Розалии, Карасик Лейзер Вульфович, был призван в ряды МПВО (местная противовоздушная оборона).

Когда мы вернулись из эвакуации, соседи рассказали, что дядя Лейзер вместе с другими участниками противовоздушной обороны был захвачен в плен. Он попал в лагерь, который был на заводе «Строммашина». Дядю впрягали вместо лошади в бочку с водой и заставляли развозить воду. Наши соседи носили хлеб, чтобы по дороге бросить ему. Дядя погиб в этом лагере.

Когда начали бомбить Могилев и бомбы упали на Вербовую улицу, мы решили из Могилева уходить.

Мы не были эвакуированы, а ушли сами. Мамина двоюродная сестра, Вера Яковлевна Шапиро, пришла к нам и сказала, что купила подводу (ее муж также был репрессирован и расстрелян).

*Абрам
Филипович
Фридман
(сидит),
отец Неси,
и Каганер,
двоюродный
брат матери,
Могилев,
1930-е гг.*



Мы пошли с тетей Верой, мамиными сестрами, Маней, Леной и их детьми. Налегке. Пешком. Немного вещей лежало на повозке.

Зашли в Мстиславле в ресторан на вокзале покушать. Собрали по карманам деньги. У мамы нашлось 19 рублей и 90 копеек. Сели за столик. Только поднесли нам первое блюдо, как подошли наши военные в темной одежде с бутылками в руках. Они нам сказали: «Скорей убегайте, город будем поджигать». Мы бросили еду и побежали к реке. Нас бомбили, а мы, пригнувшись, бежали.

Лена, Неся и Маня Фридман с мамой Хаей Эльвенной Фридман (урожденной Каганер), Могилев, примерно 1934 г.

Ночевали в поле, в лесу. Была ужасная жажда. Однажды зашли в избу попросить воды и хозяйка сказала: «Выбачайце, детки, нам сказали, что если мы жидам дадим попить, то нас расстреляют». Пили прямо из болота. Даже оттолкнуть, зажать друг друга были готовы, чтобы глотнуть воды. Гнали стада. Можно было доить коров и пить молоко, но кому было до молока?



Дошли до города Рославль. Это 300 километров от Могилева. В Рославле нас посадили на открытые платформы. Началась бомбежка. Все стали прыгать на землю, чтобы спрятаться. Прыгнула девочка, а вслед за ней мужчина. Своим сапогом он выдрал ей кусок плеча. Я тогда впервые увидела человеческое мясо.

Еды не было. Иногда нам солдаты давали что-то поесть. Привезли нас в Оренбургскую область. Поселили на молочно-товарной ферме (МТФ) с большими дырами в полу для отелившихся коров. Там мы пожили, потом нам для всех дали одну комнату. В колхозе на поле работали чуть ли не сутками, потому как бригадир сказал маме: «Фридман, у тебя нет вещей, у тебя ничего нет. Ты должна ни одного дня не пропускать, чтобы получить больше на трудодни, иначе загнешься».

В выходной день крестьяне не работали. На работу выходили я, мама и моя подружка, местная девочка Настя Баландина. Однажды я к ней

*Сестры
Неся, Лена
и Маня
Фридман,
Могилев,
начало
1930-х гг.*



пришла, никто не отвечает. Пошла в окна стучать. Она мне открыла: «А, это ты! А я закрылась, потому что сказали, что жида будут по хатам ходить». А вообще местные жители жидами называли воробьев, пока не приехали эвакуированные украинцы и не объяснили, кто такие жида.

Потом нашла нас тетя Эта Эльевна Каганер и вызвала в Челябинск. Там меня и сестру мобилизовали в ремесленное училище. Я училась на токаря. Одну пайку хлеба мы с сестрой на двоих съедали, а вторую мама обменивала у солдат, чтобы сшить нам нижние рубашки или наволочки.

Жили мы в Челябинске сначала на острове ЧГРЭС (Челябинская гидроэлектростанция). Мама была на станции сборщицей угля, а я на токарном станочке обтачивала снаряды. Строили Челябинский металлургический завод и нас, ремесленников, возили на крытой брезентом машине на стройку. Там я работала монтажником. В бетонном потолке пробивала шлямбуром дыры. Прораб узнал, что у меня хороший почерк, и взял меня табельщицей. Хотя и работа была неплохая, давали даже дополнительный талон на 100 граммов хлеба и порцию каши, но мне эту работу пришлось бросить. Такие причины создались. Он посягал на меня. Кроме того, он послал меня в управление с донесением на жестянщика. Будто бы тот левую работу производил. Но я, по наивности, подошла к жестянщику и предупредила его.

Мне тогда еще и 16 лет не исполнилось. В 16 лет меня уже хотели посадить как «немецкую шпионку».

Я уже не работала, когда за мной пришла милиция. Арестовали. Куда-то увезли. Три дня не кормили. Потом посадили за длинный стол,

положили бумагу и заставили писать под диктовку: «Я, Нэся Абрамовна, под страхом смерти согласилась работать на немецкую разведку». Я это писать отказалась. Я сказала, что еврейка. Если бы я к немцам попала, они меня бы сразу же повесили. Предложила запросить у родственников. Не знаю, запрашивали ли они, но назавтра меня выпустили и отвели к поезду. Я побоялась ехать в Челябинск, думала, что оттуда «растут ноги» у моего ареста, и поехала к теткам в Оренбургскую область. Побыла там с неделю и вернулась к маме в Челябинск.

Потом работала на заводе нормировщиком. Папу освободили в 1942 году, больше года он побыл вольнонаемным, в 1944 поехал в Могилев и прислал нам вызов. Я приехала в Могилев в 1946 году. Папа написал Сталину письмо с просьбой о пересмотре дела, но в это время Сталин умер, и вскоре папе прислали справку о реабилитации.

В Могилеве погибли мамины двоюродные сестры Хая Хайман с мужем и тремя девочками: Дорой, Лялей и Эддой, которые жили в Школьном переулке, и Оста Каган с мужем Беньямином и детьми Изей и Нэсей, которые жили в Комиссариатском переулке. Они доказывали, что в Гражданскую войну немцы к евреям хорошо относились, и потому не уехали.

Отец моего мужа, Мендельсон Исаак Ейсофович, погиб на фронте.

Брат мужа, Боря (Мендельсон Борис Исаакович), мальчик 8 лет, в это время находился на лечении в санатории «Крынки» Минской области. Его родители решили, что санаторий должен быть эвакуирован. А Боря, услышав, что война, прибежал в Могилев. Родителей уже не было. Ночевал

он по чердакам, а днем старался пасти у соседей скотину. Кому корову, кому козу. Один сосед его сдал, и его убили. Он был рыженький, не похож на еврея.

Мильто (Хренова) Галина Николаевна, вдова праведника народов мира Петра Дмитриевича Мильто, 1931 г. р.



Сама я родом из Могилева. До войны жила на улице Селянской, где школа Олимпийского резерва и селянская баня. Мы жили с мамой, папой и бабушкой. Отец, вроде, был еврей, его семья не приняла маму. Дома это была больная тема, и об этом никогда не говорили. Отец погиб на фронте в первые же дни войны.

Мама считала, что евреи очень хорошие мужья: не пьют, семье преданы, детей любят. Она работала на швейной фабрике. Уехать, когда началась война, мы не успели. Мама даже зарплату не получила. Мне было 9 лет. Бабушка была очень старой и слепой.

Я помню, как вешали на площади троих мужчин и всех стоняли смотреть. Долго висели они.

На Дубровенке было гетто. Мы бегали туда. Носили щавель. Мама рассказывала, что евреев-сапожников, часовых дел мастеров немцы заставляли работать на себя.

Помню, как мы однажды проснулись от крика. На дороге стояли открытые машины «Студебекеры». Возле одной из машин — высокая женщина, вся в белом. Она кричит: «Майн киндер! Майн

киндер!» Ребенок, наверное, уже в другой машине. Всех где-то в Печерске расстреляли. Соседские женщины потом ходили туда и рассказывали.

Помню, как по Минскому шоссе эсэсовцы вели еврея в телогрейке с желтой звездой на спине. Тогда он мне казался старым. Было лето. Жара. Он идет, а за ним мужчина с плеткой. Еврей упадет, так его бьют, пока не поднимется. А по лицу кровь течет...

Мы были опухшими от голода детьми с тонкими ручками и ножками. Я была яркой блондинкой, совсем не похожей на еврейку. Отец тоже был не очень похож. Маме было 30 лет. Она все время сидела в подвале. Слепая бабка брала у немцев белье в стирку. Мама стирала. За это давали хлеб.

*Галина Чер-
нецкая,
Могилев,
1933 г.*

Рядом с нами в двухэтажных деревянных домах, там где теперь гостиница «Могилев», стояла

немецкая тыловая часть. Мы, семеро детей примерно одного возраста, бегали по утрам с ведерками на веревочках к ним на кухню. Выходил повар и наливал нам остатки обеда. Мы очень боялись эсэсовцев в черной форме с овчарками, натасканными на людей.

Помню биржу труда на Ленинской в здании старой гимназии. Там давали «аусвайсы», и всегда было много народу. Я запомнила голод, расстрелы, пожары. Такое было детство.



В 1987 году у меня умер муж Хренов. Я познакомилась со своим вторым мужем, Петром Дмитриевичем Мильто, на кладбище.

Петр родился в Шкловском районе в деревне Каруселье. Перед войной ему еще не исполнилось 18 лет и призвать в армию его не успели. Он остался в оккупации с престарелыми родителями, двумя старшими сестрами и их семьями.

*Регистрация
могилевского
населения
в немецкой
комендатуре
оккупиро-
ванного
Могилева.
Фото авгу-
ста 1941 г.
из Федераль-
ного архива
Германии*

Незадолго до этого был расстрел евреев в соседних селах. Говорят, что по дороге к месту убийства одна еврейка отбросила в кусты девочку. Ходили также слухи, что какая-то женщина взяла ее себе в дом, но потом испугалась и отвела в лес. Позже стало известно, что незадолго до начала войны маленькая Вилия Шнейдерман приехала с мамой из Ленинграда в гости к бабушке и дедушке в город Шклов. Весной 1942 года четырехлетняя малышка провела в лесу три дня, голодная, заплаканная, напуганная. Девочку



нашли партизаны и привели в дом 17-летней Зинаиды Колосовской, жившей в деревне Староселье Могилевской области. Партизаны не могли забрать ее с собой, потому что они шли на задание, а она имела яркую еврейскую внешность. Большие черные глаза, вьющиеся волосы. Очень красивая была девочка, да и теперь женщина интересная.

Зинаида была связной в партизанском отряде, жила вместе с родителями и собиралась вскоре выйти замуж за Петра Мильто. Колосовская решила оставить девочку у себя. Зинаида и Петр отнесли к маленькой Вилие, как к собственной дочери. Девочку отмыли, остригли, накормили. Постепенно она отошла и сказала, что ее зовут Вилия. Всю войну Вилия жила у Колосовской и Мильто под именем Лилия Мильто. На каждом доме была табличка с именами тех, кто жил в доме. Девочку туда вписали под именем Лидия.

Так и жили. Голодно было, тяжело. Петр пахал, сеял, копал. Вилия потом вспоминала, как он носил ее по полю, когда у нее был кашель.

Однажды кто-то донес, что ребенок еврейский, но и среди немцев тоже были отцы. Немец посмотрел на нее, погладил по голове, даже конфетку дал. Соседи Петра и Зинаиды знали, что супруги укрывают еврейского ребенка,

*Петр Дмитриевич
Мильто
(1924—1998)
из деревни
Староселье,
Праведник
народов
Мира,
Могилев,
1980-е гг.*



а некоторые из них даже угрожали донести в полицию. Единственное, что их удерживало — страх мести со стороны партизан.

Один из партизан остался жив и жил после войны в Ленинграде. Много лет спустя Вилия написала ему письмо. Он ей ответил, написал как ее нашли, какая бедная была у Петра семья.

В 1946 или 1947 году девочку чудом нашел отец-офицер, фронтовик. Он приехал после войны в Шклов искать свою семью. Ему сказали, что всех евреев расстреляли, но слухи в деревне распространяются быстро. Кто-то сказал, что в соседней деревне есть еврейская девочка. Он поехал туда, но прошло столько лет, и они не узнали друг друга.

Как только освободили деревню, Петра Дмитриевича сразу же призвали на фронт. Воевал, дошел до Австрии. Был сильно ранен. Долго лежал

в больнице Кашценко в Москве, в госпиталях. Потом вернулся домой, женился. Его жену Зину Вилия очень любила. Родились два сына. Вилию они воспитывали, как свою дочку.

Отец Вилии служил до 1949 года, потом вышел в отставку и забрал дочь. Вилия очень не хотела уезжать, кричала, плакала, цеплялась за Петра. Ей было уже 11 лет, в школе училась. Потом она каждый год навещала своих вторых родителей —

Галина
Николаевна
Чернецкая с
мамой, Верой
Яковлевной,
Могилев,
1948 г.



Петра Дмитриевича и его жену Зину. Потом отец женился, у него еще дочка родилась. Сейчас она в Америке.

Обе семьи дружили долгие годы, и дети Петра и Зинаиды относились к Вилие, как к родной сестре. Дружба продолжилась и после того, как Вилия (позже Горфинкиль) эмигрировала в Израиль. 15 мая 1995 года Яд Вашем удостоил Петра Мильто и Зинаиду Колосовскую почетным званием «Праведник народов мира».

Сейчас Вилия со своим мужем, двумя дочками и внуками в Израиле, живут в Араде, возле Мертвого моря. Она добилась, чтобы Петру Дмитриевичу каждые три месяца приходила пенсия из Америки до самой его смерти.

**Низовцова (Москалькова) Валентина Павловна,
1922 г. р.**

Я родилась в деревне Ракузовка, около Тишовки Могилевского района. Это была маленькая деревушка среди лесов. Отец Павел и мама Анна были крестьянами. В семье было двое детей: я и младшая сестра Елена.

К началу войны я окончила 7 классов тишовской средней школы (каждый день ходили туда и назад по 7 километров), потом 10 классов могилевской средней школы № 1. Мечтала стать учительницей.

Моими одноклассницами и лучшими подругами в школе № 1 были Рахиль Хайкина, Алла Костенко и Мария Борисова. Учителем физики был



*Валентина
Низовцова
с однокласс-
ницами из
школы №1
Рахилью
Хайкиной,
Аллой
Костенко,
Марией
Борисовой,
Могилев,
конец
1930-х гг.*

Аксельрод. Мария лучше разбиралась в физике, я — в русском языке и литературе, Рахиль — в немецком, Алла — в химии. Так друг другу помогали. Все были разных национальностей. Я — белоруска, Алла — полячка, Мария — русская, Рахиль — еврейка. Еще моей подругой была Таня Карпинская.

Отец Рахили остался в Могилеве. В начале войны я пыталась спасти Рахиль. Я была уверена, что у нас будут партизаны, предлагала подруге остаться у нас в деревне. Рахиль решила пойти в деревню Бельничского района, подальше от Могилева, к Марии Борисовой. Там меньше шансов, что ее узнают. Но Рахиль так и не дошла до подруги. Что с ней случилось, где она погибла, я не знаю. Кто-то говорил, что ее выдал одноклассник, который был в полиции.



Спасала я и своего друга Анатолия Дроздова. Его мама, Елена Михайловна, еврейка, была учительницей, работала у нас в деревне в школе и в колхозе счетоводом. Ее второй муж Григорий Дроздов был русским. В семье было трое детей: дочь Зорочка и двое сыновей: Толик и Анрик. С Толиком, моим ровесником, мы дружили с детства. Перед войной семья Дроздовых переехала в Могилев. Елена Михайловна работала в Могилеве в школе № 6. Мужа призвали на фронт.

В начале войны Толик пришел к нам. Тогда же он мне подарил фотографию на память. Я храню ее до сих пор. Она мне очень дорога. Я просила Толика, когда он находился у меня дома, остаться, никуда не уходить. Я знала, что мать его уже арестовали вместе с сестрой. Один наш колхозник, который был в городе, сказал, что видел Елену Михайловну, которую тянули на веревке за машиной-душегубкой. Наверное, она пыталась вызволить дочь и ее за это так пытали. Я так просила Толю остаться!

*Анатолий
Дроздов, друг
Валентины
Низовцовой,
Могилев,
конец
1930-х гг.*

Говорила, что наши односельчане его не выдадут. Мы так его берегли! Но когда никто из нас не видел, Толя открыл окно и ушел. Больше мы о нем ничего не знаем.

Тогда я повесила фото Толика на стену. Как-то во время войны зашел к нам полицейский. Он увидел эту фотографию, узнал Дроздова и штыком снял снимок со стены: «Это еврей у тебя на стене!»



Малыша Анрика забрала сестра Дроздова к себе в деревню Голынец. Анрик единственный остался в живых из всей семьи Дроздовых. Григорий Дроздов погиб на войне. После войны Анрик пел в капелле Мысова. Потом уехал в Израиль, и связь с ним я потеряла.

В субботу, 21 июня 1941 года, папа у нас дома сделал вечеринку для меня по случаю окончания 10 классов. Пришли подруги, Толя пришел. На следующий день все убрали, помыли дома пол и пошли в лес. Сели на опушке и стали обсуждать, кто куда будет поступать. Все хотели в педагогический (в Могилеве только один институт был) — кто на дошкольный факультет, кто еще куда-то. Я с самого детства мечтала стать учительницей русского языка и литературы.

В нашей деревне не было ни радио, ни громкоговорителя. Никто не знал о начале войны. Вдруг бежит сестра и кричит, что война началась. Какая война? Солнце светит, птицы поют, все тихо. Мы разбежались по домам. Прибежала в деревню. Нам показалось, что и солнце померкло, и птицы замолкли для нас. Все стоят на улице. Женщины плачут, мужчины курят, разговаривают. В нашей деревне домов двадцать было, две улицы. Более молодых сразу стали забирать в армию, через неделю во второй призыв мобилизовали папу. Он был с 1896 года, 45 лет исполнилось. Папа еще успел нам выкопать окопчик подальше от дома, чтобы от бомбежек прятаться, и заклеил бумагой крест-накрест стекла в окнах, чтобы от взрывов снарядов не вылетели. Уже летали самолеты: и наши, и немецкие.

Остались мы одни. Пока 23 дня шли бои за город, всю деревню заселили немцы. В каждом

доме стояли. Мы никуда из деревни выходить не могли. Я со школы знала немецкий разговорный язык. В школе № 1 в 8—10 классах у нас преподавала немецкий язык очень хорошая учительница, говорили, что она немка. Она требовала, чтобы на уроках мы говорили только по-немецки.

В деревне остались парни до 17 лет. Отцы их были на фронте, и они начали немцам делать вред. Один мальчик 14—15 лет увидел, что немец пошел в школу. Тогда он схватил топор, встал возле двери, чтобы дождаться, когда немец будет выходить, и ударить его по голове. Счастье, что немец вышел через другой вход и ничего не заметил. Если бы заметили, не только с ним бы расправились, но и всю бы деревню могли бы уничтожить.

Немцы людей наших не трогали, но еду забирали. Они собирали яйца, забирали у нас кур, приказывали резать поросят. Готовили они сами.

Немецкая полевая кухня стояла на улице возле дома. Наш мальчик тихонько прокрался через картофельное поле, кулачком подавил все яйца в корзинке, которые немцы отбирали у крестьян, и также незаметно убежал. На нашей улице третий паренек через открытое окно залез в комнату, когда немец был в туалете за сараем, схватил пистолет со стола и только хотел убежать, как его заметил хозяин дома. Мужчина дал мальчишке подзатыльник, отобрал пистолет и положил на место. И в этом случае все прошло гладко, немцы ничего не заметили. Брали мальчуганы патефонные иголки, засовывали в мякиш хлеба и давали есть немецким лошадям. Женщины стали убеждать детей, чтобы они без их позволения ничего не предпринимали, потому что это очень опасно: могут сжечь и деревню, и жителей.

Когда горел Могилев и весь город был, как один факел, один из немцев, стоя на нашем крыльчике, когда рядом других немцев не было, сказал на ломанном русском языке, что пришли они не за добром, что никто не побеждал Россию и они не победят. Именно он, когда я в уголочке читала книгу Толстого, сказал, что надо читать Маркса, Энгельса. Может быть, он был коммунистом?

В нашей хате тоже жили немцы. Мы все спали в уголке в кухне. Я боялась ночевать дома и ходила спать к учительнице, которая приехала перед началом войны работать в нашу школу после Елены Михайловны Дроздовой. Один немец, офицер, сказал, что никто меня не тронет, не надо уходить.

Когда захватили Могилев, немцы из нашей де-

ревни ушли. В лесах стали появляться партизаны. У меня быстро установилась связь с партизанами, с командиром Османом Касаевым через связного из соседней деревни молодого парня Александра Якубова (Аврамова, который был командиром до Касаева, я не знала). Александр был пограничником, служил сверхсрочником в Лиде или Бресте. Он вышел из окружения и вернулся в свою родную деревню Севастьяновичи. Якубов сразу стал связным между партизанами

*Связной от-
ряда Османа
Касаева
Александр
Якубов*



и какими-то знакомыми в Могилеве. Однажды его арестовали, но вскоре выпустили, потому что никаких улик против него не было, тем более, что один из полицейских был его знакомым. Потом он с семьей выехал в партизанскую зону.

Я ходила на задания, которые получала от Якубова. Ни матери, ни сестре я про это не говорила. Всем делилась я только с подругой из Ракузовки Анной Микушкиной, которая тоже ходила на задания. С Анной мы дружили всю жизнь, и я ей доверяла. Всю семью мамы Анны сожгли в деревне Дубинка живьем. В нашей деревне на задания ходила еще одна девушка, моя двоюродная сестра, которая приехала из Ленинграда.

Летом 1942 года немцы гоняли нас на работу в Гребенево. Мы руками делали брикеты из торфа. Их складывали и сушили. Там я познакомилась с женщиной Анной. Ее фамилию я не знала, да и не стремилась узнать. Мы разговорились и стали доверять друг другу. Анна переправляла ко мне людей, вызволенных из могилевского лагеря для военнопленных, что был в Могилеве в районе Луполово. Анна всегда предупреждала меня накануне, когда придут люди, например: «Сегодня у тебя будет два человека». Как их вызволяли из лагеря, точно не знаю, никогда не спрашивала. Но говорили, что когда в лагерь привозили воду, в бочках делали двойное дно. Военнопленного сажали на дно и вторым фальшивым днищем закрывали. Делали подкопы под оградой, по которой проходил электроток. Эти люди приходили ко мне, и я их отводила к связным в лес, в Севастьяновичи, а оттуда уже вели их к партизанам.

Однажды пришла я с работы, а у нас дома в Ракузовке на диване лежит какой-то мужчина,

отдыхает. В тот день Анна меня ни о чем не предупреждала, и я никого не ждала. Мужчина обратился ко мне: «Вы должны направить меня к партизанам». Я отвечаю: «Кто вы такой? Не понимаю, о чем вы говорите! Я не знаю никаких партизан! Я ничего не знаю!» Я думала, что это могло быть подвохом. Я же читала литературу о партизанах в годы Гражданской войны и знала, как это было тогда.

Вторая моя работа для партизан была такая. Я ходила к зубному врачу Беляй Софье Васильевне, которая жила в домике на улице Менжинского, около кладбища, и брала у нее перевязочный материал, медикаменты. Брала медный купорос, йод, таблетки, особенно тогда модным считался стрептоцид. Все это я прятала в нательное белье. Ночью приходил Якубов, все это забирал и относил к партизанам.

Третьей моей работой было забирать документы у каких-то людей, которые жили на улице

*Немцы на
Советской
площади,
1941 г.
Фото из
коллекции
Олега
Давида
Лисовского*



Миронова. Я не знала их имен, знала только дом. Если стоит на окне цветочек — можно заходить, если цветка нет — заходить нельзя. Они давали бумаги, запечатанные документы. Читать их я не имела права.

С Таней Карпинской, моей бывшей одноклассницей, во время войны мы особенно не встречались. Мы очень осторожно общались. Таня по заданию подпольщиков работала во время войны на радио. Однажды мы встретились в Могилеве. Таня спросила, есть ли у меня связь с Толей и с кем я дружу. Я рассказала, что Толя пропал, наверное, его взяли. Я ответила, что есть у меня парень, приходил иногда Якубов из соседней деревни, но сейчас он ушел в партизаны.

— А ты с ним связь имеешь? — спросила Таня.

— Ну, если и имею, я разве скажу?

— Валя, ты меня не бойся. Скажи, твоя совесть чиста? А ты знаешь, где я работаю?

— Не знаю.

— Я на радио работаю. Не бойся! Ты побелела. Помнишь, как мы с тобой дружили? Приди, я тебя с офицером познакомлю.

— Не надо мне.

— Приди. У меня есть знакомый офицер, который меня вечером с радиопункта домой провожает, чтобы наши не убили. Завезем мы этих

Улицы Могилева в период оккупации, 1941 г. Фото из коллекции Олега Давида Лисовского



офицеров к партизанам. Скажем, что к тебе в Ракузовку едем в гости.

Когда Танин знакомый офицер пришел к ней днем, часа в два, на работу, она нас познакомила. Мы немного прогулялись. Он все говорил: «Гут, гут, паненки». Я тогда молодая, симпатичная была. Я сказала, что мне домой нужно, договорились, когда встретиться, и я ушла.

Казимир Юлианович Мэтте после войны, когда я уже у него училась в институте, рассказывал, что тогда узнал про нашу затею и «высыпал» Тане.

Приехали они на большой черной машине. Немцы (наши кавалеры), шофер и еще трое солдат в полном вооружении.

Партизаны были предупреждены, что мы приедем, уже сидели в засаде на деревьях. Везли мы немцев не в Ракузовку, а в Севастьяновичи. Только мы проехали Тишовку, как немцы говорят: «Нихт, паненки, партизанен. Пуф-пуф. Нам будет капут». Машину развернули и поехали назад в город. Во время другой нашей встречи с Таней она мне дала несколько пропусков-«аусвайсов», чтобы я передала партизанам. Среди партизан были такие, которые неплохо знали немецкий язык, а формы немецкой в отряде было полно. Вот они иногда одевались в немецкую форму, и нужны были документы.

У нас с Таней был договор: мы встречаемся в определенное время в условленном месте — возле деревянной шаткой лестницы на площади (сейчас она называется Советская), которая вела вниз. Там обычно не было людей. Если в один день кто-то не придет, встречаемся через 2 или через 4 дня.

Однажды я пришла на встречу к Тане, а она не пришла. Не было ее и через 2, и через 4 дня. Это

было в 1943 году. Потом я узнала от партизан, что Таню арестовали. Танина мама была связана с подпольщиками. А там столько связных: и мужиков, и женщин! Кто-то выдал. Но их семью бы, наверное, выпустили, потому что улики и доказательства не было. К несчастью, в это же время бомба разорвалась около их дома. В то время наши самолеты уже бомбили город. В подвале была пишущая машинка. Говорили, что какая-то соседка принесла эту машинку в полицию. Таня и ее мама вынесли ужасные пытки и издевательства, в конце концов их убили. Но они никого не выдали. Теперь улица, на которой стоит наша школа, носит Танино имя.

Меня тоже арестовали. Однажды я пошла на задание, а взяла другую сумочку и забыла свой пропуск. Я уже возвращалась домой от Беляй, в белье были спрятаны лекарства, какие-то свертки.

На повороте на дорогу к Тишовке я увидела четырех парней.

— Предъяви документ!

Я засунула руку в сумочку, пошарила и поняла, что «аусвайса» нет. Сказала, что забыла пропуск дома.

— А! Партизанка! Шагай с нами!

Я попробовала шутить, зубоскалить: «Да куда я с вами, ребята! Честное слово, у меня документ дома». Но заметила, что у них под пиджаками торчали пистолеты, и догадалась, кто они. Это были гестаповцы.

Слушать они меня не стали, повели назад в город. Я иду. Ноги стали, как ватные. Во рту пересохло. Говорю: «Ребята, я не могу идти, у меня во рту пересохло». Они матом на меня: «Ты, ... партизанская!» Возле шелковой фабрики, рядом с баней, стоял деревянный дом. На улице

был мужик. Полицаи подтолкнули меня к дому: «Иди, попей!» Я вскочила в домик, а там, Господи, знакомые женщины. Когда-то до войны, когда мы жили еще на хуторе, они привозили к нам маленьких детей на отдых. Одна из них была воспитательницей детского сада. Женщины меня не узнали, я уже из ребенка превратилась в девушку. На кухне стоял старый дермантиновый диван. Я стала быстро вытаскивать лекарства и бинты из штанишек, из бюстгальтера и кидать на пол. Бывшая воспитательница ногами заталкивала это под диван. А вторая женщина стояла возле дверей и смотрела, чтобы никто не шел. Попить я не успела.

Спрашивают:

— Напилась?

— Да, — говорю. — А сама так рада, что все улики вытряхнула!

Привели. Обыскали. Ничего не нашли. Завели в комнату на втором этаже гестапо. Десять дней полицаи издевались надо мной. Десять дней били и унижали. Отбиты были обе почки. Меня укладывали на широкую скамейку, кто-то садился на ноги, и били толстыми, как ножка стула, резиновыми палками-бизунами. Только недавно, когда уже в старости тело морщинами покрылось, следы тех побоев стали незаметны.

Один наш колхозник ехал по дороге на телеге и видел, что меня ведут. Он приехал не домой, а сразу к маме, рассказал, что вели четверо с пистолетами. Мама бросилась к своему брату, который у нас в деревне жил. Стали меня искать. Нашли. Маму ко мне пустили. Но меня не отпустили. Меня били по лицу, выламывали руки, сказали, что подвешат на дыбу, если я не признаюсь в связи

с партизанами, не расскажу, кто в моей деревне с партизанами связан.

Мама взяла документы, «аусвайс» и пошла в волость к бургомистру. Там ей дали справку, что меня знают, что отец на фронте, что я живу с мамой и сестрой. Это меня спасло. Меня выпустили.

Тогда я еще более рьяно взялась за работу. Эти полицаи меня еще два раза останавливали. Однажды они ехали на машине и увидели меня возле тишовской школы. Меня схватили. В тишовской школе был немецкий лазарет. Возле него на школьном дворе стоял пустой дом. Полицаи меня заперли в этом доме на щеколду и уехали. Сказали, что заберут на обратном пути. Немцы из лазарета увидели, как меня запирают. Один немец открыл дверь, спросил меня по-немецки, почему я здесь. Я ответила, что не знаю. Тогда он выпустил меня и сказал, чтобы шла домой не по дороге, а через лес и поле. Я убежала.

В третий раз я повстречалась со своими врагами возле станции Могилев-2 (я уже старалась ходить другой дорогой). Полицаи вдвоем на лошади ехали.

Я шла на задание, но сосед, зная, что я иду в город, попросил меня купить ему на Быховском рынке пару пачек махорки, а его жена (та самая, что отводила мужика к партизанам) попросила купить мыло и иголки. Я все это купила. Полицаи у меня эти покупки нашли и сказали, что я несую их партизанам. Я объясняла, что это соседи просили. Тогда меня посадили на телегу, довели до Ракузовки. Там соседский мальчик катался на велосипеде. Его спросили, знает ли он меня, и где я живу. Мальчик подтвердил. Тогда один полицаи сел на велосипед, мальчика посадил на раму и поехал к

соседу. И сосед, и соседка, конечно, сразу стали говорить, что они меня просили купить и махорку и мыло, и иглы. После этого случая Осман запретил мне ходить на задания в город.

Пошла по моим следам и моя 15-летняя сестра. А мама, так, чтобы мы не знали, сама брала у своего брата одежду, которая оставалась в летной части, что до войны была у Быховского базара. Эту одежду мама заворачивала в подстилку, пристраивала на плечи. Она сгибалась, как старушка, хотя ей тогда всего 42—43 года было, лицо чем-то мазала, чтобы старше казаться, и относила теплую летнюю форму партизанам.

Лагерь военнопленных под Могилевом. Фото августа 1941 г. из Федерального архива Германии

Папа попал в лагерь для военнопленных недалеко от станции Солтановка (это между Жлобином и Гомелем). Он должен был по приказу немцев делать табуретки, скамейки. За инструментами немцы водили его к местным жителям. Папа, когда возвращал инструменты, незаметно



передавал хозяевам записки с просьбой сообщить о нем родным и указал наш адрес. Тогда люди ходили по городам, по лагерям военнопленных, искали своих родных. Кто-то со станции Солтановки пришел в Могилев к лагерю для военнопленных на Луполово. Там передал папину записку незнакомым женщинам, а те уже с кем-то знакомым переправили папино письмо в Ракузовку маме.

В снежную, морозную зиму 1942 года мама пешком по шпалам дошла до Солтановки. Пришла. Нашла папу. Он уже был тяжело болен — тиф и воспаление легких. Мама объяснила немцам, что переболела тифом в детстве, и ее пустили к папе. Папа успокаивал маму, говорил, что не голодал: знакомый повар из Казимировки давал ему добавку. Но как-то однажды еда была недоброкачественная, вызвала понос, а туалет на улице и там он простудился. Папа умер у мамы на руках. Она отдала папино обручальное кольцо, которое взяла с собой, чтобы сделали гроб и похоронили папу. На могилу положили камень, и мы потом после войны нашли папину могилу. Пешком мама и вернулась. Несколько раз ее останавливали немцы, направляли оружие, но она объясняла, что ходила к пленному мужу.

В 1943 году приехали партизаны и забрали нашу семью в партизанскую зону в деревню Фашцевку. В этой деревне моим заданием, как грамотного человека, было переписывать план боевых действий партизан для командиров 1-го, 2-го батальонов и других.

У нас были концерты. Мы с сестрой играли на гитаре и пели. Каждый праздник отмечали, особенно 8 марта и 7 ноября. Часто к нам приходил

командир отряда кабардино-балкарец Осман Касаев. Он меня звал Тина. Он был добрым человеком и очень любил детей.

Жили там очень тесно, в одной затее четыре семьи, но там было безопасней. Сначала были коровы, молоко. Потом партизаны их стали забирать. Есть им что-то надо было. Ели и лошадиное мясо. Партизаны привозили мясо, заставляли женщин разделывать. Что-то и нам перепадало. Только в последнее время жили без соли. Если какая-то крупинка перепадала, мама старалась отдавать нам, детям. Она очень ослабла и болела. Выжили. Когда отряд пошел на соединение, мы, молодежь, пошли с отрядом. Я с сестрой тоже пошла, а мама осталась в Фащевке. Потом она вернулась домой.

В 1944 году я поступила в двухгодичный Могилевский пединститут, окончила его и работала учительницей русского языка. Сестра тоже стала учительницей.

Пимнева Ольга Павловна, 1939 г. р.



Я родилась в Могилеве, на улице Верхней Карабановской.

Мама, Фаина Давидовна Певзнер, 1905 г. р., по мужу Луговцова, жила в Новозыбкове (сейчас Брянская область России), там она окончила школу или гимназию, затем Белорусский госуниверситет.

У мамы был первый муж, Петр Филипенко, который погиб в отрядах ЧОНа. Помогать было некому, и мама взяла в университете академический от-

пуск. Она работала в школе в Калинковичах учителем истории. Маму там замечательно встретили. Директор школы научил ее педагогическому мастерству.

Где-то в 30-х годах приехала в Могилев. Здесь она познакомилась со своим вторым мужем Павлом Луговцовым, моим отцом.

В Могилеве жил мамин брат, Александр Давидович Певзнер. Отец мамы хотел, чтобы он стал раввином. У него была изумительная память. Он работал преподавателем в пединституте. Потом, примерно в 1937 году, был репрессирован за книгу о Древней Руси, в которой не прославлял Сталина. Книга его напечатана не была. Остался жив. Всех друзей с его факультета расстреляли. Когда началась война, мы эвакуировались вместе с женой маминого брата Тамарой Шальман и их двумя детьми (сейчас эти дети живут в Израиле).

Мамина старшая сестра — тетя Рая. Ее муж, Абрам Веледницкий, был известным еврейским поэтом. Отец его был главным раввином в Киеве. Воевал в Гражданскую, был в одной партийной ячейке с Голдой Меер. Он был репрессирован в 1951 году. Вернулся. Жил в Киеве. Его стихи печатали в Израиле.

Остановились в каком-то русском городе и решили, что там уже останемся,

Фаина и Павел Луговцовы, родители Ольги Пимневой, Могилев, 1930 г.



*Раиса
Веледницкая-
Певзнер, се-
стра Фаины
Певзнер,
с сыном
Михаилом,
погибшим
на фронте,
Киев,
1920-е гг.*



немцы туда не дойдут. Мама и тетя Тамара Яковлевна разъехались, чтобы искать работу в разных школах, два историка в одной школе ведь не нужны. Но немцы наступали, и надо было эвакуироваться дальше, а тетя Тамара серьезно заболела, ехать не могла. Она с детьми осталась в деревне, а мы с мамой поехали в Казахстан. Договорились, что они к нам приедут. Тетю в этой деревне спас староста, которого назначили немцы. Староста спрятал ее с детьми где-то в лесу. Благодаря ему они остались живы. Когда пришли наши, тетя Тамара не позволила старосту расстрелять, рассказала, что он не был предателем, а был вынужден занять эту должность.

Потом Тамара Певзнер (Шальман) преподавала в культпросветучилище в Могилеве. Когда

дядю Сашу, ее мужа, отпустили на поселение, она поехала к нему, как декабристка за мужем. Так как жить в больших городах ему было запрещено, он остался в Барнауле и вернулся только после войны, после полной реабилитации. В конце концов он переквалифицировался из историка в бухгалтера.

В эвакуацию мы попали в деревню в Алма-Атинской области (колхоз им. Калинина Копальского района). Мама была там директором школы, организовала работу с

местным населением, ее все очень уважали. Школа была единственным местом, где собирались на всякие мероприятия. Мама пересказывала сводки с фронта. Делала новогодние елки для местных детей. Вокруг мамы все время были люди. Жили там и казахи, и русские. Она организовывала пение. Мама говорила, что если видели, что у нее в школе горит огонек коптилки, значит, думали, что какое-то мероприятие, и все собирались. А если собрались, то надо было что-то организовывать. У всех тяжело было на сердце, мужья на фронте, надо было поднимать дух.

Мои воспоминания чисто детские. Помню крыльцо школы, по которой ползла змея. Один из учеников схватил ее. Он был из семьи змееловов и умел их брать. Он показывал нам эту змею и пугал ею.

Школа была в бывшей барской усадьбе. Возле нее был огромный котлован — бывший пруд. Я как-то там провалилась в снег, и меня вытаскивали.

Помню, как пришла похоронка — извещение о смерти отца. Это было летом 1942 года. Отец

*Тамара
Шальман
с детьми
Эриком и
Нелей,
Могилев,
1939 г.*



погиб под Москвой. Мама стояла у окна, отвернувшись от нас, и плакала. Я до этого никогда не видела маму плачущей и сказала, что тоже буду плакать.

Перед отъездом мама отоварила продуктовые карточки. Ей дали большую буханку хлеба и маленький довесок. Помню, как я просила у нее этот кусочек. Потом я у мамы спрашивала, дала ли она мне этот довесок. Мама сказала, что не дала. Дорога из Казахстана длинная, отоваривать карточки было негде, и мама берегла каждый кусочек хлеба, чтобы нас прокормить.

Фаина Луговцова с сыном Фридрихом и учителями школы, Казахстан, 1941—1942 гг.

К нам в эвакуацию приехали еще дедушка Давид Певзнер и бабушка Елена Перельман — мамы родители. Дедушка был отменный краснодеревщик. Хвастался, что делал в Кричеве пану Михаевскому бильярдный стол. За ним в Новозыбков приезжала коляска и возила на работу.



Бабушка и дедушка эвакуировались вместе с семьей младшего брата мамы, Самуила Певзнера, в Узбекистан. Самуил, дядя Муля, был педагог и потом много лет преподавал в Пинске. Младшая сестра мамы, Нина, также была учительницей и работала потом в Ленинграде.

Пшеницы там (в эвакуации) было много, ее не ценили. Запомнилась сцена, как хозяйка кормила свиней. Она вышла на крыльцо с полным подолом зерна и все его высыпала прямо на пол, и свиньи прямо с пола съедали зерно. Хотя урожай государство и изымало, все равно много оставалось. Платили зарплату зерном. Никакого антисемитизма в эвакуации не было. Там был мельник,

Давид и Елена Певзнеры, дедушка и бабушка Ольги Пимневой. Фото периода эвакуации

который исповедовал какую-то иудейскую веру, может быть караим. Маме он помогал, отдавал остатки зерна.

Семья была большая, и первое время местные помогали. Принесут, например, тыкву и поставят молчком.



Я запомнила один обед. Мы все сидели за столом. Мама подала суп из отрубей. Их зачерпывали ложкой, обсасывали и выплевывали. Там было несколько кусочков картошки. Бабушка выловила пару из своей тарелки и положила в мою. Мама стала ругать бабушку: «Что ты делаешь? Это же тебе». Бабушка сказала, что она уже жизнь прожила, а мне еще надо жить.

Бабушка умерла в эвакуации. Помню, как ее хоронили, зашив в простыни.

Вторая моя бабушка, Луговцова, очень дружила с моей мамой, написала письмо, чтобы мама возвращалась, что дом ее цел, картошку нам посадили, будет что есть. Тогда мы и поехали.

Помню, посреди дороги домой я заболела корью. В Могилеве пришла нас встречать тетя, сестра отца. Могилев ночью бомбили, город был весь в дыму. Бомбили и район Карабановки, где жили железнодорожники. Тетя несла меня на руках, и я помню дом, который еще дымился,

*Ольга
Пимнева с
мамой и ее
братьями
Самуилом,
Семеном и
Александром
(в центре),
Могилев,
1957 г.*



хотя огонь уже был потушен. Город был весь в руинах.

Мама была квалифицированным педагогом с высшим образованием, и ее приглашали директором школы и в Новозыбков, и во Львов. Но мама вернулась в семью отца, где ее уважали и любили. Так мы и жили на Карабановке.

Подстенная (Бычкова) Анна Максимовна, 1926 г.р.

Я родилась в Сухарях. Метрики мои сгорели, поэтому я не знаю — с 1926 я года рождения или 1927.

Я родилась на поселке, это в километре от еврейского кладбища. Улица, которая вела на наш поселок, называлась Глинище. Так и говорили: «Пойдем на Глинище». Поселок назывался Церковный. Сейчас там ничего нет. А тогда было несколько дворов. Жили Суденковы, баба, мы, Гриневици, дядька Лявон, Бондарев, Якимец, дядька Авдей, Софейка Краснобаева, Суденков Савка — всего двенадцать. Но потом, когда хутора начали убирать, дома начали сносить. Это было в 1934 или 1935 году. Тогда колхоз образовался (первой пошла в колхоз Рохля, а вот фамилию я не помню. Она около нас жила). Мы переехали в центр, в еврейский дом недалеко от церкви, где раньше была сапожная мастерская. Там уже никто не жил. Мы его отремонтировали и переехали. Нас тогда было пять человек: родители и трое детей. Брат Петр, 1923 г. р., младшая сестра Зина, 1935 г. р., и я. Папа Максим Титович, мама Евфросинья Лавреновна — все сухаревские.



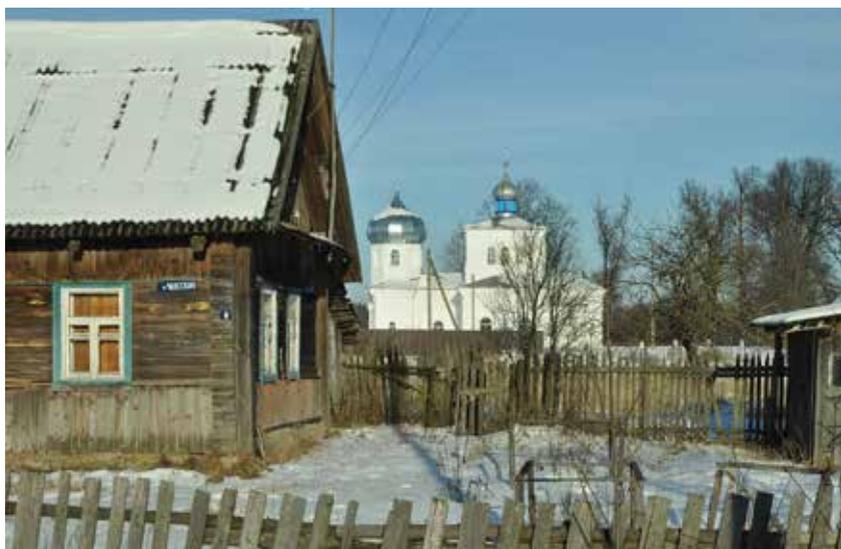
Когда мы переехали, рядом жили только две белорусские семьи Борковы и Холявкины. Остальные дома занимали евреи.

Помню, варенье соседи-евреи варят в медном тазу. Бегут, кричат: «Аня, Аня!» Просят тазик почистить. Я беру, сажусь в песок и давай шуровать. Повычищу, повычищу. Они мне потом какие копейки дадут, я и пошла. Мирно жили. Что мирно, то мирно.

Пасха когда, или пятница, суббота — они не работают. Ничего не делают, хоть тут что... Они в Б-га верили. Хорошие люди. Приходят: «Лавреновна! Аня! Иди корову подои». Иду. Мацы дадут.

Синагогу я не помню. А церковь была. Там перед войной магазин был: одна сторона продуктовая, другая — промышленная. Когда война началась, тащили из магазина, кто что мог. Даже я взяла цветочницу. Она и сейчас стоит. Я ее в яму кинула и присыпала, потом уже забрала.

Вид с Чаусской улицы на сухаревскую церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в 1900 г.



Когда церковь закрывали (в конце 30-х годов), папа мой Библию, Евангелие и другие книги забрал и в наш камин за юшкой (мы ее называли «сковорда») спрятал. Приходили проверять, потому что знали, что папа брал. Но куда спрятал, не знали. И все сохранилось. Уже потом, когда церковь началась, батюшка появился, папа ему понемногу все отдал.

В Могилев на базар ходили. Брали масло, яйца, сметану в корзинку и шли на Быховский базар пешком. Выходили рано. Хоть верьте, хоть нет — ходили. И сколько раз! Почти каждое воскресенье. А вечером еще и на танцы ходили.

В хозяйстве были лошадь, корова, поросенок, куры. С 12 лет с плугом, косой, бороной.

Рядом жили Соловьевы. Дора Исаевна (Исааковна) была учительницей, преподавала немецкий язык. У нее были мать и отец. Отец работал мельником. У них была дочь Люда, 1935 года, как моя сестра. Они дружили. И еще ребенок — год-

*Еврейское
кладбище в
Сухарях в
конце Чаус-
ской улицы*



полтора. От русского парня. Когда евреев расстреливали, мы хотели Люду взять. Обратились к бургомистру Степану Рыбакову, а он сказал: «Вы можете погибнуть. Люди сейчас продажные. Могут вас выдать». Так и не удалось...

Рядом еще жила Гинда. У нее были сын и дочка. Сын ушел в армию, когда война началась. Было много Кацманов. Янкеля помню. Но фамилию забыла.

Когда война началась, мы в школе были. Тут закричали: «Самолет, самолет!» Он начал бомбить, но никто не погиб. Это было чуть ли не 23 июня. Так мы узнали, что война началась. Тогда уезжали потихонечку, кто куда мог. Но я бы не сказала, что евреи сильно уезжали. Большинство осталось.

Пришел наш учитель по физкультуре Дроздов и сказал: «Давайте, собирайтесь. Поедем в Чаусы в военкомат». Я запрягла лошадь. Собрались пять человек: Мулик Зеликов, сын Гинды, наш Петя (они втроем очень дружили), Шажков и кто-то

*Анна Под-
стенная
возле памят-
ного знака
на месте
уничтоже-
ния евреев
местечка
Сухари в
урочище
Липки*



пятый. Все ушли на фронт. Только брат мой Петя и Дроздов с войны пришли. Остальные погибли.

Когда немцы появились на двух машинах, дали команду собирать курей, яйца. Они долго не задерживались. Полгода немцев почти не было, а полицейских было полно. Свои были. Бургомистром был Степан Рыбаков, он жил до войны в Ивановичах в трех километрах от Сухарей. Бургомистр был хороший, а вот брат у него был плохой — это был зверь. Его после войны искали и не нашли. А бургомистр, когда карательный отряд должен был приезжать, сказал моему папе: «Передай мужикам, кто куда может, пускай уходят. Приедет карательный отряд». Папа потом сказал Соловью (Соловьеву), и Исай Соловей всем объявил. И все ушли. Мужчин погибло мало. Может, человек восемь. Куда они уходили, я не знаю. Больше мы их не видели. И после войны они не вернулись.

Я хорошо помню, что кузнецом у нас еврей работал, здоровый такой. Три раза в него стреляли,

*Новый
памятник
в Липках,
установлен-
ный в июне
2014 г. фон-
дом Лазару-
сов*



три раза убегал, но потом все же убили. Как его звали, я не знаю. Жил он с семьей в Хорошках, в километре от Сухарей.

Больше его никто не видел.

Когда карательный отряд приехал, начали они с Соловьев. Их был крайний дом на Чаусской. Там же жила баба Бычиха, папиного дядьки жена. Сын их погиб в первых боях.

Тогда нам дали команду запрягать лошадей. Конюшня рядом была. Запрягли, подъехали к дому, остановились возле нас. Выходит Дора Исаевна с девочкой на руках, Люба рядом идет. Старуха Соловвиха, бедная, сапог обувает. Я ей начала помогать, а немец ее хлопнушкой, которой ковры вытрясают, по спине. Дошли до нас. Гинда села, Рохля села. Сколькo могла я взять, взяла. Тут и вторая лошадь подъехала. Приехали первым рейсом в Липки. Поставили их в ряд, и сразу из автомата. А девочку Доры Исаевны, которой двух лет не было, немец вот так, штыком,

*Открытие
памятного
знака в Суха-
рях на дороге
Могилев —
Мстиславль
с фамилиями
погибших
евреев, июнь
2013 г.*



и кинул. Немцы расстреливали, кто из автомата, кто из пистолета, кто как мог. Потом поехали опять, сделали несколько рейсов. Растерянные мы были. Боялись, что и нас... Всех туда завезли, и сами тикать...

Назавтра пошли смотреть. Там же яма была, что наших два дома влезет. От бомбы. Сейчас там все распахали. Памятник поставили. Но немножко надо было выше поставить. Ну, неважно. Все равно рядом.

Из тех, кого мы туда завезли, никто не спасся. Всех расстреляли. Только вот этот кузнец бежал. Прятать никто-никто не мог, потому что вокруг полицаи стояли. Там никого не спасешь.

В школу я во время войны не ходила. Да и учить нас некому было. Уже потом наша вся семья разбрелась кто куда. Мама с сестрой — в деревню Зелковщина, папа — в Бельничском партизанском отряде, я — в отряд Гришина.

Первое время мы хлеб выращивали. Прятали, закапывали в бочки в ямы. Мельница уже не работала. Мы жерновами сами зерно мололи. Немцы приезжали, все забирали. Они у нас и лошадей, и корову забрали. Лошади были общие, в конюшне стояли. Но бургомистр не лютовал, правда. А вот полицаи — да, говорить нечего. Но их уже нет никого.

Как-то я сюда в отпуск приехала, в 1947—1948 году, пошла на кладбище. А там один из полицаяв сидит. Я ему говорю: «Что, фашист, пришел? Сейчас, падла, ты останешься без глаз». Пошла за ребятами, но пока вернулись, его уже не было. Посадили. Десять лет дали.

А потом, с месяц прошло после расстрела евреев, начали сюда фашисты приезжать, дома

занимать. И сделали здесь комендатуру. Всю нашу улицу тоже выселили в один дом. Нас, наверное, жило там человек двадцать. Как сельдей... Комендатура была возле шоссе, возле Зюбрицких. В нашем доме жил такой хороший немец, спокойный. Тут и оружие стояло.

Потом все начали рассасываться, кто куда. Я часто ходила в свой дом. Приберу там иногда. Мне нужно было. Потому что знакомая Наташа Недведская работала переводчицей. Хоть ее и обвиняли потом, но она связана была с партизанами.

К нам на Фильков хутор (с километр от нашего поселка) приходили партизаны. Они напали на немцев в Сухарях. Троху немцев пугнули. И сказали, чтобы к ним в отряд уходили. А Наташа говорит: «В вашем доме власовцы, я с ними говорила, они хотят в партизаны». Это уже где-то в 1943 году было. Я пошла к Бруевчевому хутору. Взяла несколько партизан и привела их к нашему дому, показать, где оружие спрятано. Без оружия в партизаны не брали. Там и забрали двух власовцев и оружие. И я с ними в отряд пошла.

Назавтра уже в разведку отправили. Полицай Турков Мишка заметил, что я пропала, а потом пришла, схватил и потащил меня в комендатуру. Тут же Наташе, переводчице, передали, что меня схватили. Она пришла в комендатуру, говорит: «Ты чего тут?» Комендант: так и так... А она говорит: «Нет, она спала со мной. Никуда она не ходила». И меня освободили. А вечером я снова в партизаны ушла. Оставаться было опасно.

Через несколько дней партизаны напали на Сухари, закрывали дома на замки и поджигали. Немцы в окна выскакивали, а партизаны их били.

Ни одного немца в Сухарях потом не осталось. Все ушли. Полицаи еще оставались, но уже тише были.

Папа тоже в партизаны ушел, еще когда немцы стояли. Он был белобилетник. В 1918 году он в Польскую воевал, был весь побит.

После партизан я вернулась в Сухари. Больше не училась, только 7 классов до войны окончила. Наш дом был весь заминирован, но солдаты наши помогли.

Вчетвером впрягались в плуг, пахали, картошку сеяли. По два человека борону тягали. В 1948 году завербовалась на север.

**Пынтикова (Магдалова) Мария Ануфриевна,
1929 г. р.**

Я родилась в небольшой деревне Заболотье за Вендрожем, в 25 километрах от Могилева около еврейских местечек Селец и Дашковка.

Мой отец, Ануфрий Ефимович, был учителем начальной школы. Когда ему было 27 лет, в начале 20-х годов, оставив ему двоих детей, умерла его жена. Дочку взяли к себе ее родители, а сына Леню оставили отцу. Они были богатые, родом из шляхты. Это было еще до создания колхозов.

Тогда отец взял в жены мою маму, простую 17-летнюю девчонку Александру Сергеевну Солодкину. На свадьбе мама очень плакала, как на похоронах. Но жили родители хорошо, и старшего сводного брату Леню мама считала родным. В семье родилось еще трое детей: старшая сестра



Паша, 1924 г. р., брат Володя, 1927 г. р., и я. Папа умер в 1935 году.

Мама работала в колхозе на ферме. Было очень тяжело. Все делали руками. Мама была очень доброй и трудолюбивой. В деревне у всех были прозвища. У мамы — Напрееха (от отчества Онуфриевна — по-белорусски Напреевна). В нашей деревне жили мамин дедушка и одна мамина сестра, а вторая сестра и бабушка — в деревне Досовичи.

Я перед войной окончила только 4 класса. Леня уже начал работать учителем в деревне Досова Селиба и заочно учился в Могилевском педтехникуме. Брат Володя в 1940 году поступил в ФЗО в Ленинграде. Там его застала война. По Ладоге его вывезли в Казань, и там он работал на авиационном заводе. Потом он подделал документы, чтобы его призвали в армию, стал на год старше. Он проходил службу во Владимиро-Волынской области в пограничных войсках, служил 7 лет.

О том, что началась война, мы узнали по «радиотарелке» спиртзавода «Батунь», что был в полутора километрах от нашего дома. Обычно по этому громкоговорителю каждые полчаса был гудок (вместо часов), а в тот день подключили радио.

Всех мужиков призвали на фронт. Но до массового отступления Красной армии было тихо. Возле нашего дома обычно собиралась молодежь. Вечером разложили костер и пекли картошку. В это время к нам на огонек подошли три советских офицера, попросились переночевать. Двое пошли по деревне говорить с людьми, а один, видимо, это был политрук, зашел к нам в дом. В тот вечер он так убедил мою маму, что наступление

немцев временное и они ни за что не победят, что даже когда фашисты стояли под Москвой, она не верила в их победу.

Наступления немцев мы ждали и готовились. Недалеко от нашего дома, около старинного Екатерининского тракта с березовой аллеей, был ров. В этом рву выкопали небольшие окопчики.

Помню первое «крещение войной». Мы с соседской девочкой Ульяной спрятались в окопе, сделанном прямо в недостроенном доме. Мама с сестрой Пашей пошли в дом, чтобы спасти какие-то вещи от пожара, потому что многие дома в деревне уже горели от артиллерийских снарядов, обстрела самолетов. Ульяна выбежала из окопа, хоть ее и не пускали, и я вслед за ней побежала вдоль реки домой. Какие-то наши солдаты из отступающих частей стояли под крышей и стреляли по самолетам из винтовки. Солдат крикнул мне: «Девочка, ложись!» Я послушалась, упала в высокую траву. Травостой и урожай зерновых тогда был сильный. Когда самолеты улетели, поднялась, осторожно пошла по огородам, прикрывая голову. Слышала какую-то речь и мне казалось, что это немцы говорят.

Маму и Пашу вместе с соседями я нашла в нашем окопчике. Залезла к ним. В это время прямо по дороге вслед за отступающими частями пошли немецкие танки. Один из танков наехал на окоп. На нас посыпался песок, перекрытия затрещали. Танкист заметил, что внизу люди, и остановился. Сосед помог выбраться сначала детям, потом женщинам, потом вышли мужчины. Мы побежали к дому. Очень страшно было: прямо по нашей деревне шли танки, из-под гусениц вылетала горячая смесь. Дым, пламя, грохот. Ужас, растерянность.

Не знали, что предпринять, решили пойти к маминой маме в деревню Досовичи, которая была в 4 километрах от нас. Паша выгнала из сарая корову, чтобы не сгорела. К вечеру вернулись домой. Наш дом оказался цел, а дом тети Марфы сгорел. Тетя Марфа перенесла на пепелище капличку с кладбища, поставила печечку и там жила с двумя детьми.

Вскоре в деревню пришли немцы в зеленой форме с закатанными рукавами. Для солдат поставили палатки на колхозном выгоне для скота. А в нашем доме разместились офицеры. Нас из дома не выселяли. Мы жили в меньшей проходной комнате, а офицеры — в большой комнате и просторных сенях. Офицеры готовили себе сами в нашей печи. Один из них выдвигал горячие угли из печи вперед и прямо на них жарил яичницу. Мама очень боялась, что от этих углей начнется пожар, и посылала меня отодвинуть их обратно в печь. Немец грозил мне пальцем, но не трогал.

В сенях немец печатал на машинке. До тех пор я печатных машинок не видела и очень удивлялась,

Немецкие войска вступают в деревню под Могилевом. Фото 1941 г. из Федерального архива Германии



чем это немцы стучат. Солдаты с палками гонялись за курами, собирали яйца. Но заходить в наш двор и в дом офицеры солдатам не разрешали, не давали забирать свиней и корову.

Немцы уехали, и началась страшная, но для военного времени обыденная жизнь.

Отец был учителем, числился в «активе». Когда он был жив, все, кто приезжал из района проводить коллективизацию, останавливались в нашем доме. В деревне были люди, которые не любили Советскую власть и свое отношение к Советской власти переносили на нас.

В деревне был единоличник, который плохо к нам относился. Он был мошенником. Например, до войны он зазывал к себе детей, обыгрывал их в карты и требовал, чтобы из дома они приносили вещи и продукты. Во время войны он пошел в полицию.

Другой наш недруг, Киселев, до войны стащил сало из дома семьи молодого учителя Клепчи, который приехал работать в деревню после смерти отца. Мой брат Леня очень дружил с Клепчей, вместе с ним учился в техникуме. За воровство Киселева осудили, а во время войны он освободился и стал старостой. С их подачи у нас первых полицаи забрали всех животных.

В 1942 году летом староста немцам в волость подал список — 11 семей «активистов» «за связь с партизанами», приговорив всех к расстрелу. Наша семья тоже попала в этот список. Расстреливать людей по списку приехали немцы. Всех спас урядник Болозев. С тех пор, как только приезжали немцы, мы бежали прятаться в лес, в поле.

Немцы приезжали днем. Вечером, как только начинали лаять деревенские собаки, мы уже не

спали, ждали других «гостей». Ночью приходили партизаны за едой. Еще чаще под видом партизан приходили бандиты. В темноте приходили деревенские мужики из других деревень или даже свои же соседи в масках и забирали еду, вещи.

В начале войны колхозную землю поделили между семьями подушно. Длинные узкие полоски земли мы обрабатывали вручную лопатами, тяпками. Сеяли картошку, ячмень, рожь. Много ли вырастишь без лошади, без удобрений?

Папин брат Ефим во время войны был объездчиком в лесу. Делянки с вырубленным лесом тоже использовали под посевы проса, землю вокруг пней обрабатывали копаницами и засевали.

На огороде выращивали лук, коноплю, лен, мак, овощи. Этим и питались. Натолчешь коноплю с луком, сваришь семена льна или картошку с маком — и еда готова, и вкусно было. И свадьбы гуляли, и поминки отмечали, боролись за жизнь.

После 1942 года не стало соли. Собирали остатки колхозных удобрений, кипятили, оставляли и этой горькой водой солили еду. Ночью приходили партизаны или бандиты и эту воду тоже забирали.

К весне 1943 есть стало вообще нечего. Сушили картофельные очистки и делали из них лепешки. Ходили по полю, собирали гнилую перемороженную картошку и делали из нее оладьи. Песок из картошки не вымывался, так что старались глотать, не прожевывая. Добавляли крапиву, цветки клевера, щавель.

Мужчин заставляли идти в полицию. Соседский парень Фрол сумел уйти в партизаны. Киселев узнал об этом, грозил его матери сжечь дом. Уже перед самым освобождением староста

Киселев пришел к тете выпить самогон, его выследил Фрол и застрелил. Тетя гнала в лесу самогонку и себе, и на продажу.

Несколько раз немцы и полицейские приезжали забирать молодежь в Германию. Ребята убегали, прятались, но все равно кого-то выдавали, кого-то ловили. Сестра Паша, когда приезжали немцы, пряталась под пол. Рассказывала, как страшно было, когда она сидела под полом, а сверху немцы стучали коваными сапогами.

Иногда немцы поджигали дома и тот, кто прятался под домом, сгорал или задохался. Так погиб мамин двоюродный брат в деревне Батунь. Он вырыл тайный подземный проход между домом и сараем и там прятался с дочкой во время облавы, а когда сарай подожгли, они задохнулись.

Зимой 1943 года заболел сын тети Христины из деревни Досовичи. Тетя попросила привезти к ней дочку, которая, пока болел брат, жила у нас. Паша с двоюродной сестрой-ровесницей Надей отвезли малышку на санках. Отправились обратно. Только девушки прошли лес, как услышали стрельбу (это пристрелили павшую лошадь, потом наши люди таскали ее мясо). Они поняли, что впереди обоз с немцами. Паша и Надя побоялись свернуть в лес, думали, что по следам на снегу могут их догнать, и пошли навстречу обозу. Последние сани остановились, рослую Пашу заставили на них сесть, а младшую Надю отпустили.

Когда Надя прибежала к нам и сообщила, что Пашу забрали, мы с мамой напрямую по снегу опроретью бросились вслед за обозом, но, конечно, не догнали. В эту же ночь умер болевший сын тети.

Мама вызволила Пашу. Она узнала, что назавтра немцы вместе с молодежью ровно в 12 часов

будут возвращаться из Кучина в Могилев. Видимо, работала связь с партизанами. Мама пошла навстречу обозу. Возле Досовой Селибы был небольшой мостик, миновать который было невозможно. Мост охраняли немцы. Мама на мосту пожаловалась немцу-постовому о том, что забрали дочку, и он разрешил подождать на мосту.

Через некоторое время показался обоз. Впереди шел сын дяди Ефима Анатолий, потом мама увидела в толпе Пашу и пошла рядом с ней. На узком мосту все столпились. Нескольким охранникам-немцам уследить за всеми было невозможно. Были бы местные полицейские, никто бы не удрал.

Рядом в землянке жил с семьей тот самый урядник Болозев, который нас уже спасал. Как заранее договорились, жена урядника спрятала у себя в землянке несколько молодых ребят, в том числе Пашу. Парням она подсказала взять топоры, как будто они тут во дворе работали, а не с колонной шли. Когда обоз прошел, мама

*Мария
Пынтикова
с сестрой
Шурой,
1947 г.*



и Паша поднялись из землянки, чтобы возвращаться домой. Навстречу им шел тот самый немец, которому мама объясняла на мосту, что ищет дочь. Немец улыбнулся, сказал «гут» и не остановил их.

Толя тогда спрятаться не смог. Он попал в Германию, потом был призван в Советскую армию и погиб на фронте. Болозева после войны осудили за связь с фашистами.

Многое из того, что плохого было во время войны, делалось нашими полицейскими. Самым страшным и жестоким нам запомнился «Барчиков отряд». Так у нас называли полицейскую роту под руководством фольксдойч Августа Барчке (Барчика). Там были белорусы и украинцы. Они многих убили.

Летом 1943 года, перед самым освобождением, немцы снова забирали молодежь и женщин с детьми. Уже не только на работы в Германию, но и для того, чтобы использовать в качестве заложников, гнать за отступающими солдатскими колонами. В деревне объявили общее собрание. Старик, брат моего деда, который жил с нами, посоветовал никуда не ходить. Он догадался, что будут забирать молодежь. Так и было. Группы немцев обходили хаты и проверяли, все ли ушли на собрание.

Паша легла в постель, как больная. Около кровати поставили стакан с квасом. Сестра от страха была бледная, как мел. Мы слышали, что немцы очень боялись тифа. Немцы увидели бледную девушку, услышали слово «тиф» и сразу ушли. Немец из патруля спросил, сколько мне лет. Я ответила, что 12. Но немец покачал головой и показал на пальцах, чтобы я говорила, что 10 лет. Таких патрулей было несколько. Мы сидели и думали:

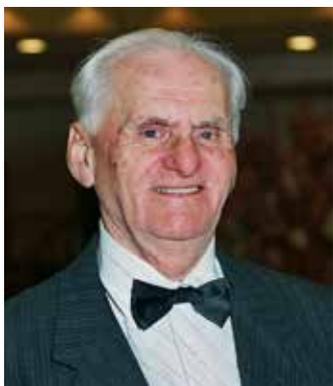
может, сейчас вытащат пистолет и застрелят? Может, сейчас дом подожгут, и надо будет прыгать в окно, прятаться в картошке?

На собрании выбрали молодежь, а остальных отпустили по домам. Те, кого тогда забрали, почти все быстро вернулись. Немцы отступали и уже не очень-то охраняли пленных.

У нас в деревне была только одна еврейка. Она еще маленькой девочкой была удочерена местными жителями и еще до войны вышла замуж за односельчанина. Во время войны у нее уже была своя дочка. Ее никто не выдал и никто не тронул.

В 1943 году, после отступления немцев, мы заболели брюшным тифом. Болели тяжело — были ослаблены недоеданием. У меня, как последствие перенесенного голода, всю жизнь больной желудок. Мы с Пашей поправились, а мама, для которой эта болезнь была повторной и усугублена простудой, осенью 1944 года умерла.

Симонс Арон Тевелевич, 1923 г. р.



Я родился в Могилеве. В апреле мне исполнился 91 год. С каждым годом я забываю имена и факты.

Мама, Гнеся Самойловна Белосток, 1988 г. р., была родом из Могилева, отец мамы был портным, а братья были музыкантами.

Папа, Тевель Аронович (Урьевич), 1884 г. р., родом из Литвы, его семья жила под Каунасом. Оттуда он во время Первой мировой войны попал на фронт и в плен в Германию. Потом вернулся в Россию, остался в Могилеве. Папа

мой говорил на идиш, по-русски говорил плохо. Отец папы умер в 1921 году.

Во время Второй мировой войны вся семья младшего брата папы погибла в Вильнюсском гетто.

Отец до войны работал на кожевенном заводе, а перед самой войной — рабочим в горпищеторге, а мама работала на шелковой фабрике, потом продавала в ларьке на Быховском рынке керосин. Керосин считался сырьем для обороны.

Помню, как рос Могилев: 70 тысяч, потом 80 тысяч, потом больше. Процентом 35—40 было евреев. Помню еврейские клубы, школы, училища. Я учился в еврейской школе № 12 в Пожарном переулке и жил на Виленской улице. Дружил с Ривой Вайман, которая жила недалеко на Дубровенке. Уже потом тема евреев стала запретной.

В 1939 году я после 10 классов поступил в Борисовское военно-инженерное училище. Проучился там около года. Зимой на учениях надо было раздеваться, бежать 5 километров через реку. Я простудился. У меня было страшное воспаление легких. Меня отправили в отпуск. Я уехал домой, лечился, улучшения не было, и назад в училище меня не взяли.

Тогда я пошел в железнодорожное училище. Туда принимали, как на военную службу, и брали только комсомольцев. Я проучился несколько месяцев и стал работать кондуктором, через полгода меня перевели в пассажирскую службу и перед войной я работал багажным раздатчиком. Началась перевозка военных грузов. То ли в Червене, то ли в Лотве я открыл дверь багажного вагона, а на стыке так трясло, что я не удержался, упал и попал под колесо поезда. Меня подобрали

стрелочники. Они остановили следующий поезд, отвезли меня 19 мая 1941 года в больницу. В Оршанской железнодорожной больнице ампутировали ногу. 19 июня меня отправили в Могилев для продолжения лечения.

О том, что евреев будут уничтожать, власти не говорили. Часть пожилых людей помнила оккупацию 1918 года. Они надеялись, что немцы их не тронут. Но о том, что творилось в Польше, Германии, рассказывали. Я видел фильм по Фейхтвангеру «Семья Оппенгейм».

С 25 на 26 июня был воздушный налет на Могилев, бомбежка. Я был комсомольцем и решил пойти на железную дорогу и узнать там, что мне делать. На станции мне сказали, чтобы я взял свою семью и пришел, когда будет подан поезд. Я сказал всем своим родственникам, кому мог. Уехали в эвакуацию мамина сестра с семьей, дядина сестра с семьей, моя семья. Не спас только папину

сестру Геню Шнирельман с 6 детьми и мужем, частным извозчиком Моисеем. Их всех расстреляли в Польшковичах (еще два их сына были на фронте).

Для участия в обороне, в ополчении, остался еще папин брат, мой дядя, Мейлах Аронович Симонс. Он там погиб.

Моя старшая сестра, Александра (Щера) Симонс, 1920 г. р., с ребенком, 1 год и 2 месяца, погибла от рук немцев в

*Тевель
Аронович
Симонс,
отец Арона
Симонса,
Могилев,
1940 г.*



Бресте. Она была артисткой театра оперетты в Бресте (Геннадий Хенкин, живущий в Израиле, наш племянник, написал книгу о Катастрофе евреев Беларуси, книга вышла в Израиле). 19 июня 1941 года, когда я вернулся из больницы, мы ее вызвали в Могилев, но она сообщила, что никак не может приехать. Нет возможности... Если удастся, приедет в воскресенье. В воскресенье началась война. Сестра бежала с ребенком, но где и как они погибли, неизвестно. В 1943 году, когда уже был в эвакуации, я встретил артистов, но ничего о ее судьбе им не было известно.

Я, младшая сестра, брат, отец попали на эшелон для семей работников железной дороги и семей начальства предприятий. Когда подали эшелон, мы собрали, что могли, легкое. Поезд по дороге несколько раз бомбили. Ходили агитаторы и говорили: «Берите с собой только самое необходимое. Через 2—3 недели вернетесь назад. Все

*Щера
Симонс,
старшая
сестра Аро-
на, с дочкой
Светланой
погибли в
1941 г. в Бре-
сте. Фото-
конца
1930-х гг.*



останется целым». А я на костылях, нога залита кровью. Я был рад, что спасаю родных. Папу по возрасту не призвали, а мама осталась. Перед войной маме сказали, что если она оставит свою работу, ее накажут самым строгим образом, как изменницу.

Мы выехали в сторону Орши. В Орше попали под налет, и нас перенаправили в сторону Кричева. На станции Темный Лес наш эшелон вновь попал под бомбежку. Поезд там стоял почти всю ночь. Было несколько раненых, но, к счастью, паровоз успели отвезти от станции к Кричеву. В Кричеве я на костылях пошел в кондукторский резерв попросить еды у своих знакомых железнодорожников. Думал, что поезд будет стоять 2-3 часа, как на других станциях. Мне наложили полную солдатскую сумку еды, и я на костылях с окровавленной ногой и сумкой на плечах пошел назад. Успел только хвост поезда увидеть. Папа стоял в последнем вагоне на месте для кондуктора. Я махнул, показал, что буду догонять. Так начались мои скитания и погоня за родными. Меня ждали в Пензе, но мы там не встретились, зато там семью сумела догнать мама.

В Кричеве я узнал направление состава, в котором ехали родные, и сел на следующий товарный поезд в вагон с углем. Там тоже были эвакуированные из Могилева. Доехал до станции Сухиничи. По дороге нас два раза бомбили. В некоторые вагоны попали осколки. Меня подобрал санитарный поезд, который шел с 22 июня по 2 июля с западного направления, из Минска, с ранеными. Прямо из своего вагона я обратился к врачу-офицеру санитарного поезда. Он меня осмотрел, забрал, сделал перевязку. Меня завезли в

Калугу в госпиталь (до войны там был санаторий «Сосновый бор»). К счастью, успели меня спасти, но ампутировали ногу дальше.

Немцы наступали через Калугу на Москву. Начальник госпиталя выдал больным, которые могли самостоятельно передвигаться, документы, продукты, необходимые медикаменты. Нас посадили на поезд и привезли в Куйбышев. Еще правительство из Москвы туда не переехало, но там уже находились центральный госпиталь и центральный эвакуопункт.

Куда мне дальше ехать? Я хотел найти родных. Вспомнил, что моя двоюродная сестра еще до войны вышла замуж и уехала в Ташкент. Я подумал, что мои родные могли поехать к ней. На поезде Москва — Ташкент приехал в Ташкент. Сестру в Ташкенте я не нашел. Она с семьей уехала в город Хаккулабад на границе с Индией. Я переехал к сестре, продолжал искать родных. Документы у меня были в порядке. В райкоме комсомола мне предложили работу заведующего партийной библиотекой при райкоме партии. Там, в библиотеке, я и жил. Потом меня направили агитировать по сдаче хлопка. Мне исполнилось 18 лет. Все мои друзья воевали, а я на костылях старался делать все, что мог. Заболел тропической лихорадкой. Из средств для лечения тогда был только хинин. Попал в больницу Хаккулабада.

Через несколько дней после того, как я вышел из больницы, случайно на вокзале встретил могилевских соседей Гартенбергов. Беженцев рассылали кого в Андижан, кого в Наманган. Я обрадовался, стал спрашивать, не видели ли они моих родных. Они ответили, что видели и знают, что мои родители уехали в Мордовию.

Я, еще больной, поехал в управление железной дороги в Ташкенте, взял разрешение на поездку обратно до Саранска. Когда я ехал из Ташкента, в вагоне оказались военные. По дороге разговорились. Там я встретил старшего лейтенанта-еврея из Витебска по фамилии Левин. Он был послан на воинские пункты для отправки на фронт. Он мне сказал, что если мне удастся попасть в Саратов, то я могу зайти к его родственникам. О своей семье, которая осталась в Витебске, он ничего не знал. Витебск был уже оккупирован. Бумажку с адресом его родственников я спрятал. Такое совпадение, как будто кто-то меня направлял.

Доехал до станции Чкаловск. В это время правительство переехало в Куйбышев, и въезд в город был закрыт.

Был январь-февраль 1942 года. Проехать по законам военного времени можно было только по особым разрешениям. Мне пришлось вернуться обратно до Солеилецка, на Саратов, оттуда на Саранск. Это был очень дальний путь.

Я на костылях. Морозы до 40 градусов. Вагоны были переполнены. Раненые, беженцы. По дороге я заболел брюшным тифом. Очутился в саратовской больнице. Больница была переполнена. Я не помню, как меня сняли с вагона, что было в больнице, сколько времени я там провел. Очнулся больше чем через неделю.

Сестра сказала:

— Сынок, мы тебя вернули с того света.

— Что значит «с того света»?

— Когда тебя привезли, то отправили в трупарню. Но одна медсестра приложила ко рту зеркальце и увидела, что ты живой.

Истощенный, еле живой, я вышел из больницы. Тогда вспомнил о зашитой в курточке записке с адресом родственников офицера Левина. Спросил, где это, и поехал туда. Нашел дом, квартиру, постучал, рассказал о своей истории. Мне сказали, что Левин тут не живет, но у директора завода комбайнов, который стал военным заводом, работает Левин. Меня пригласили в дом. В квартире жили поляк, подполковник Чеголя и его жена. Полковник был летчиком-испытателем. Они меня, 18-летнего юношу, раздели догола и отправили в ванную. Мои вещи они сожгли в печке, а мне дали новую одежду. Директору Левину они позвонили, но тот оказался просто однофамильцем моего знакомого. Я пробыл у семьи Чеголя недели две. Они относились ко мне, как к сыну. Кормили хорошо. У них дома было все через край, только птичьего молока не хватало. Они не хотели меня отпускать, просили остаться у них, предлагали найти и вызвать моих родителей, но мне, ребенку, хотелось найти своих. Они меня тепло одели, дали денег, еду и проводили на вокзал.

Они спасли меня. Сейчас уже не могу вспомнить имени жены Чеголя, а тогда я называл ее мамой. Когда нашел родных, послал Чеголя два письма, искал их после войны. Потом я узнал, что они переехали в Куйбышев. О дальнейшей их судьбе мне неизвестно. Пусть им будет вечная память.

Вокзал Саратова был переполнен. Ожидать поезд мне пришлось на ступеньках туалета. Ждал около суток. Подали товарно-пассажирский поезд по направлению на станцию Пенза. Я попал в товарный вагон. Там были солома, доски.

Посреди вагона железно, на котором разводили огонь, чтобы обогреться. Было очень холодно. Обычно от Саратова до Пензы ехали 3—4 часа, но наш поезд шел двое суток. Оттуда с трудом попал в поезд на Саранск. Меня, безногого, посадили на третью полку. Очень помогли мои железнодорожные документы, с которыми я ходил к начальнику вокзала.

В Саранске я нашел родных. Когда через некоторое время я получил протез и смог передвигаться, стало веселее. В городе Саранске я нашел своих земляков, эвакуированных из Могилева: семью Шевелевых, семью Веккер. От них я узнал фронтовые адреса товарищей по 3-й школе Шевелева Левы, Шлемы Бергера. Начал с ними переписываться. Эти отважные ребята погибли на фронте. На фронте был и мой друг и одноклассник Лева Крючковский в морском флоте. Потом он стал полковником.

В Саранск приезжали представители Белоруссии, отбирали для обучения и отправки в партизанские отряды эвакуированных из республики. Перед отправкой их готовили на специальных курсах. Я предполагаю, что евреев туда не брали, знали, как немцы к евреям относятся. Но если волосы русые и лицом на еврея не похож, то ребята шли. Мой школьный друг, Лазарь Чернов, был принят на эту учебу и погиб в белорусских лесах, участвуя в партизанском движении. Я хотел проявить свой патриотизм. Это было искренне, от всей души. Я тоже пошел поступать, но мне сказали, что я нужен буду здесь, в тылу. Мы так были преданы Родине, так нас воспитали.

Я работал бригадиром мастерской по ремонту унтов — обуви для летчиков.

В 1943 году решил добраться в освобожденный Кричев. Доехал через Москву на поезде до станции Кричев. Оборонительные линии стояли на речке Проне в городе Чаусы. С одной стороны наши, с другой — немцы. Город Кричев и станция подвергались ежедневным бомбежкам. Меня направили в ОРС (отделение рабочего снабжения). При ОРСе была полевая армейская хлебопекарня. Там выпекали хлеб для воинских частей. Я там работал до 1944 года, до освобождения Могилева.

Станция Кричев стала узловой по направлению на Оршу, на Минск, на Могилев. В ночь с 5 на 6 июля 1944 года станцию бомбили более 70 самолетов, бомбили волнами, без оглядки. Я сидел с хозяином дома, в котором жил, в специально выкопанной яме и повторял про себя по-еврейски: «Шма Исраэль», чтобы, если суждено, я погиб сразу.

На моих глазах зенитная батарея с 8 или 10 де-вушками превратилась в груды металла и куски мяса. Я увидел это, когда на рассвете вышел из ямы после обстрела, оглушенный, контуженный. Все вокруг горело. Горел продовольственный склад. На месте, куда упала 500-килограммовая бомба, было озеро. Потом я читал, что эта бомба не разорвалась, потому что в Германии русские патриоты засыпали в стабилизатор бомбы песок. Если бы бомба взорвалась, меня бы

*Гнеся
Симонс,
мама Арона
Симонса,
Могилев,
1940-е гг.*



не было. И я что сделал после бомбежки? Герой большой — пошел помогать санитарам.

Потом приехал в Могилев. Горком комсомола направил меня заведовать карточным бюро Могилева (тогда действовала карточная система).

Сказали, что парнишка я молодой, честный, семьи у меня нет, так что воровать не буду. Я был избран одним из первых секретарей комсомольской ячейки при Могилевском горисполкоме. Проработал там до августа 1946 года.

Был участником восстановления города, даже книжку-удостоверение такую имел. Залез на лестницу, написал белой краской на стене дома на улице Первомайской, недалеко от дома Ленина: «Из пепла и груды развалин восстановим тебя, родной Могилев». Организовывал выходы на уборку улиц.

Когда я приехал, в гостинице «Днепр» еще находились немцы. Их вытаскивали, от ранений у них в ранах были черви больше чем в палец толщиной. Но тоже люди — лечили, демократия.

В 1945 году я женился. Моя жена была бухгалтером в Кричеве. Она тоже была там во время бомбежки. В августе 1946 года у меня родился сын.

Мой отец и отец жены были религиозными. Мы с женой были воспитаны в еврейском духе в социалистическом котле, но имели талес, сидер (талит, сидур. – *Ред.*). Мы договорились сделать сыну брит-милу. Обратились к доктору Гуревичу, хирургу. Собирали подписи под списком, чтобы открыть синагогу в Могилеве. Я тоже подписался.

На меня донесли в горком комсомола. Как вы думаете, кто донес? На обрезание я пригласил

родных и сестру, а сестра пришла с молодым человеком, евреем, который должен был стать ее мужем. Он и донес. Ровно через два дня про обрезание в моем доме стало известно. Меня сняли с работы, исключили из комсомола, аннулировали рекомендации в члены партии. Я подал документы в Гомельский институт железнодорожного транспорта, но в институт так и не поступил. Я — молодой человек с хорошей характеристикой, работал на железной дороге, где получил увечье при исполнении служебных обязанностей, перенес все патриотические вещи. Все это было аннулировано. Я остался без всего, без работы. Я не понимал, за что все это.

Меня вызвали на заседание бюро горкома. Сидели все члены бюро и секретарь.

— А ну как, расскажите, что это за событие у вас?

Проверяющий инструктор докладывает: «Он сегодня совершил обряд, а завтра выйдет на улицу с крестами и хоругвями! Исключить! Казнить!» А я все еще не понимаю за что. Выступила одна женщина, прекрасный человек, то ли защитница, то ли не понимала на самом деле. Она сказала, что не понимает, что такое обрезание. Я сказал, что могу показать, что такое обрезание.

Я вышел и не знал, что делать. Мне обрезали все. Хоть кончайся в 23 года. А у меня семья, ребенок. В квартире одна комната на 12 метров.

Я пошел, как мне рекомендовали, в Дом Советов, в областное управление артелями («Облазнопромсоюз», потом переименовали в «Областное управление бытового обслуживания») и обратился к его председателю Зеличенку Якову Зеликовичу. Я ему все рассказал. Он сказал, что это не

страшно. Я толковый парень, а ему нужны толковые парни. Сказал, что ему нужны работники в отдел снабжения. Я был на это согласен. Меня назначили начальником отдела снабжения. Я очень старался показать себя хорошо. Договаривался с заводами. Ездил в командировки. Через год работы меня пригласил Зеличенко и предложил написать заявление на увольнение по собственному желанию. Я спросил: «Что, я плохо работаю?» Он мне ответил, что я работаю хорошо, но он вынужден это сделать. Я написал заявление.

Потом наедине, на идиш он рассказал мне, от души рассказал, что было причиной. Он был в обкоме партии и там секретарь ему сказал: «У вас в штате 70% евреев, а 30% русских, а должно быть наоборот».

Что я, умник большой, сделал? Я написал письмо на имя товарища Сталина и копию послал в газету «Могилевская правда». Написал, что меня увольняют как еврея. Мало того, что я подписал письмо об открытии синагоги, что сделал обрезание, так я еще написал письмо Сталину. Я не понимал, что происходит вокруг, ни с кем не советовался, написал, все как есть. В то же время в Могилеве арестовали Штамма, начальника облторга Кашина.

Дальше мне рассказывать больно. Дедушка первой жены моего сына, Штамм, коммунист, очень порядочный, честный, умный. Отсидел 10 лет. Ему дали 25 лет. За что? За то, что сказал, когда убили Михоэлса, что голову сорвать с того, кто не сохранил голову Михоэлса. Михоэлса, который был «короной еврейской головы».

А что мне грозило за то, что я «клеветал на Советскую власть и распространял религиозные

идеи»? Мне грозило 25 лет. Я был на грани суицида, но думал о молодой жене, ребенке. К счастью, мое письмо попало журналисту Вацлаву Моисеевичу Гильбурту. Ему дали проверить это письмо. Он не дал ему ход.

В КГБ оказался порядочный человек. Сказал, чтобы я немедленно забрал свое заявление и заявление из газеты. Он сказал, что жалеет меня, что я молодой, неопытный, инвалид, сгнию там в первые же дни.

Я некоторое время работал инспектором в горкоопторге. После этого Зеличенко послал меня учиться на курсы фотографов. Сказал, что это профессия из профессий, «мелуха из мелохот». Племянник моего зятя женат на внучке этого Зеличенка. Пусть ему будет пухом земля!

Папа после фронта заболел энфиземой легких и умер в 1946 году. После его смерти я заболел. Не было денег на лечение. Лечиться надо было тайком. Я уезжал в санаторий, но не говорил, скры-

Арон Симонс (слева) с коллективом фотографии №1, первым местом работы в качестве фотографа, Могилев, начало 1950-х гг.



вал, чтобы семью не расстраивать. Вкалывал себе воздух. Вылечился. Видно, отняв ногу, Б-г дал мне долгую жизнь.

В 1948 году обвиняли, что слушал радио Израйля, когда радио глушили.

В начале 50-х годов я пошел на шестимесячные курсы фотографов в Минске и до 1989 года работал фотографом в разных фотостудиях. Фотография — это была профессия евреев. Во-первых, потому что так было и до войны. Во-вторых, потому что одни евреи оканчивали институты и становились профессорами, а другие становились профессорами-фотографами, профессорами-швейниками, малярами, жестянщиками... Это были хорошие мастера, поверьте мне... Может быть, потому, что они хотели учиться, я знаю?.. Так и Симонс... Хотел учиться — не пустили...

Арон Симонс с работниками фотографии на ул. Первомайской, Могилев, 1950-е гг.



Тюнин Геннадий Федорович, 1930 г. р.

Я родился в Могилеве, жили мы на Железнодорожной улице около вокзала. Мне казалось, что все жили одинаково, не было богатых и бедных. Мы играли в разные игры: в лапту, футбол, зимой обязательно лыжи и коньки, летом у нас были для игр Днепр и луг. Сами выдумывали себе спортивные состязания: кто глубже нырнет, кто быстрее переплывет Днепр. Жили нормальной детской жизнью. Когда я заиграюсь и вовремя домой не приду, мать меня лупила березовым прутиком, правда, только по мягкому месту. А когда я начал курить и мама увидела это, я получил настоящую порку, после которой не мог сесть за парту. Отец меня никогда не бил. Воспитывала и дома командовала только мама. Мне теперь очень приятно вспомнить, как она меня лупила. Хорошее было детство.



В семье были еще дети: сестра Светлана, 1937 г. р., и маленький братик, который умер во время войны, в 1946 году родился еще брат Валерий.

Моими лучшими друзьями были Владимир Горовцов и Леня Осмоловский. Мы жили на одной улице, ходили в одну 30-ю школу, которая была в здании помещичьего дома, во Дворце пионеров. Там были замечательные кружки: летчиков, матросов, шахматы, шашки, литературный кружок. Я ходил в морской кружок. Мы все очень любили книги. Много читали: Жюль Верна, Стивенсона, о революции, о Гражданской войне. Хулиганов у нас не было.

Везде и всюду ходили только пешком. Пешком ходили и на Луполово, на Большую Чаусскую улицу, где жила бабушка, Александра Яковлевна Карначик. Они с дедушкой жили в большом пятистенном доме. Бабушка была родом из порядочной еврейской семьи из Витебской области, но она перекрестилась еще до революции. Бабушка была верующая, православная, пела в церкви. Бабушка вышла за русского — такая была трагедия в ее семье. Бабушкин отец кончал сельскохозяйственную академию в Горках и был у помещика агрономом.

Перед войной, примерно в 1940 году, мать бабушки (моя прабабушка) с бабушкиным братом приезжала в гости. Прабабушке уже тогда было 100 лет. Помню, ей все время клизму ставили. Бабушкин брат в Новороссийске был главным инженером строительного завода. Бабушка и прабабушка только разыскали друг друга до войны. До этого не общались. Несколько дней они жили у нас.

Бабушка, конечно, еврейский язык знала. С соседкой Дверкой общалась до войны. Бабушка у нее молоко покупала. Бабушка и французский язык знала. Дедушка, как рассказывали, просто дрался с другими за бабушку, чтобы она за него замуж вышла. Он был военным каким-то.

Бабушка в городе пользовалась большим уважением. Рядом был рынок на Луполово. Там и продукты, и сено, и дрова продавали крестьяне. В базарный день бабушка принимала переночевать крестьян, что на рынок приезжали. Спали и в прихожей, и на лавке, и под лавкой. Все у нее останавливались. Во дворе телеги ставили. Бабушка умела шить, но не для продажи, а для себя.

У нее машинка «Зингер» была. Сашка, который продавал швейные машины, принес ей машинку. Сказал, чтобы брала без денег. Деньги она потом отдала. Это истинно так было. Бабушка и дедушка погибли во время войны.

Дети жили свободно, не такие прижатые, как теперь. В кино ходили. Смотрели фильмы «Джюльбарс», «Чапаев», «На границе» и другие. Одно время, перед самой войной, я учился в русской школе в Пожарном переулке (мы некоторое время жили на Гражданской улице), рядом кинотеатр «Чырвоная Зорка». Мы покупали дешевые билеты. Рядом с нами жила русская семья Линдеровых. Их мама, Анастасия, была задушевной подругой моей матери. С Риммой Линдовой, которая сейчас в Греции живет, мы дружим до сих пор.

На Луполово летом ходили только босиком по песку, заливному лугу, по пляжу на берегу Днепра. На Днепре была такая красота, так хорошо было с пацанами, что мы домой опаздывали.

*Александра
Яковлевна
и Сергей
Яковлевич
Карначики,
бабушка
и дедушка
Георгия
Тюнина,
Могилев,
1930-е гг.*



На Луполово и церковь, и синагога была, и белорусы жили, и евреи, но нас тогда это не заботило. До войны мы не понимали разницы, кто татарин, кто еврей, кто молдаванин, кто грузин. И это не только дети не понимали, но и взрослые. Все мы были русские. Синагога была на Малой Чаусской улице. Это было высокое двухэтажное здание с неровной крышей. Большая церковь была на берегу Днепра. Немцы во время войны там ставили лошадей. Церковь и синагога, как и костел недалеко от театра, до войны уже были закрыты. Мы, пацаны, от церкви и синагоги были далеки, были октябрятами, потом пионерами.

Верующими мы не были. Но у нас в семье все были крещеными. Приходил крестить одноглазый мужчина с саквояжем, переодевался и крестил детей. Крестили дома у бабушки. Закрывали окна, чтобы никто не слышал, не видел.

Мы до войны ходили в театр. Были детские постановки. Редко пропускали сказки. Интересные были спектакли. На каланче ратуши были часы, которые заводил наш родственник.

Отец, Федор Дмитриевич Тюнин, 1904 г. р., работал на железной дороге, мама, Анастасия Сергеевна, была домохозяйкой. Папа все время работал на железной дороге, машинистом на паровозе. Там всюду стояли часовые. Он иногда и меня брал на работу. Паровоз был теплый, чистый. За рейс надо было аккуратно перебросить в топку десять тонн угля. Это искусство!

Когда война началась, я был в лагере для детей железнодорожников в городе Сураж. В лагере были всякие игры, лес рядом, питание намного лучше, чем дома. Дома у нас было и молоко с ба-

зара, и хлеб, и масло, но в лагере питание было намного лучше. Там я пробыл девять дней. На этом детство мое кончилось.

Когда война началась, сказали, чтобы мы ждали, пока за нами не приедут. А мы с другом сами шуганули, пешком пошли на станцию, чтобы скорее добраться. Но сели на поезд, который шел в другую сторону. Приехали в Унечу. Долго бродили, пока в Могилев попали. Мы вернулись, а отец поехал на восток. Так мы надолго расстались. Потом он рассказывал, что ехал до Уфы практически без сна и отдыха. Там уже не выдержал, пошел к коменданту, и тот позволил отдохнуть.

Никто и не думал, что немцы дойдут до Могилева, что война больше чем одну-две недели продлится. В первые дни от бомбежек мы все уехали прятаться в деревню Романовичи, но вскоре вернулись.

Анастасия Сергеевна и Федор Дмитриевич Тюнины, родители Геннадия Федоровича, Могилев, 1930-е гг.



Жили тогда у бабушки на Луполово. Луполово, левый берег Днепра, было уже занято немцами, когда в центральной части города еще шли бои. Мы боев не видели. Мы вместе с соседями сидели в землянке. Шел немец и орал: «Коммунист, коммунист, коммунист!» Тогда я немца первый раз увидел.

Я увидел, как по улице гнали наших пленных красноармейцев на старый аэродром, где вскоре сделали лагерь для военнопленных. Пленные наливали из бака какой-то жидкий суп. Посуды не было. Наливали эту жидкость кто в пилотку, кто в гимнастерку, кто прямо в руки. Тащили больных, раненых. У нас, пацанов, такое издевательство над солдатами вызывало злость, обиду. Мы бегали к колонне, чтобы что-то передать. Кто картофелину бросит, кто еще что-то. Некоторые женщины, увидев кого-нибудь, кричали: «Ой, панок, это мой муж!» И мужчин

Лагерь военнопленных под Могилевом. Фото августа 1941 г. из Федерального архива Германии



отпускали. Так они солдат спасали. В лагере была верная смерть.

Ехали такие большие тягачи с двумя прицепами. Злость и обида на немцев переполняли нас. Мы думали: пусть бы дождь пошел, хоть бы залило все, чтобы машины немецкие не могли пройти по шоссе.

В городе совсем нечего было есть. Мама со Светланой ушли в другую деревню, чтобы жить там. Я идти в деревню не захотел. Я сначала остался у бабушки, а потом болтался там-сям. Питаться у бабушки было нечем. Я носил какие-то тряпки в деревню и менял их на еду. До войны на краю Чаусской улицы в сторону авторемонтного завода было пустое место, заросшее травой. Оно называлось Зярина. Там паслись гуси, утки. Бабушка и дедушка до войны держали птиц. В войну ничего не стало.

На Дубровенке было гетто, потом оттуда евреев возили расстреливать в Польшковичи. Я туда не ходил. Потом было наводнение и даже нашу школу № 30 затопило.

У бабушки даже мысли не было, даже понятия не было, что ее могут забрать как еврейку. Ничего еврейского у них в семье не было, христианские праздники справляли, иконы висели дома. Но кто-то из соседей донес. Много было таких предателей. И ее, и дедушку вывезли в Польшковичи, в ров. Не смотрели, кто какого поколения, какой веры.

Когда бабушку забрали, я уже был в партизанах. Как ее забрали, я не знаю, никто не рассказал.

В конце мая — начале июня 1942 года я попал в партизанский отряд Василия Павловича Станкевича. До войны Станкевич был обыкновенным

шофером. Его брат, Иван Павлович, был в партизанах, потом он стал комиссаром полка. Мы с Иваном Павловичем были полужнакомы. Собрались несколько взрослых мужчин, женщина Галя, и я просто к ним пристал, как прилипалка. Володька Гаврилов, сосед наш, тоже пошел с нами на Борок (потом Гаврилов вернулся домой, а после попал в тюрьму и пропал). Прошли вперед, тут партизаны едут на повозке. Они сначала решили, что мы — это полицаи. Спрашивают: «Поедешь с нами?» А я: «Да, конечно!» Там на подводе было несколько человек, среди них Медников. Дали мне хлеб и какое-то вареное мясо. Я проглотить не успевал, откушу и глотаю, откушу и глотаю. Так они его у меня отобрали, испугались за меня... Так я и попал в партизаны. Галина вскоре стала женой командира Николая Дмитриевича, и они потом вместе ушли на фронт.

Никакой связи с фронтом в 1942 году у нас не было. Где фронт, воюют или не воюют — ничего не знали. Немцы бросали листовки, писали, что Москву уже взяли, Сталина нет, жизнь будет хорошей. Я в Николаевском отряде был, когда пришел по списку 29-й, а когда вышли на соединение с армией, в отряде было больше тысячи бойцов. Рядом еще два отряда было, «Абрамовский» (потом, когда в 1942 году командир лейтенант Миша Абрамов погиб, руководить стал Осман Касаев, отряд переименовали) и «Березовский».

Один раз я с Османом Касаевым встретился в 1943 году. Он тогда мне сказал: «О, старик приехал!». А мне только 13 лет было, но уже больше года воевал — старый партизан.

Я был в разведке. Нас было человек 15. Обычно меня оставляли одного с лошадьми. Это было

намного хуже, чем со всеми идти. Первую мою лошадь убили, пристрелили около Песчанки. Я только подъехал, спустился, а там немцы. Поскакал назад, они открыли огонь и в лошадь попали. Лошадь звали Блоха, потому что была черненькой и невысокой. Я ее прошу: «Блошка, встань», а она храпит и все. Вытащил ногу со стремя и давай драпать.

Вторую лошадь убили зимой в 1943 или 1944 году. Ехали по партизанской зоне, не думали, что могут быть немцы или полицаи. Удрал, конечно.

Во время зимней блокады деваться было некуда, уже в хаты в деревню не пойдешь отдыхать, и спали так: ложились на землю по кругу грудь в грудь, тесно прижимались друг к другу, а потом по команде «Кругом!» каждые 20 минут все переворачивались на другой бок.

В землянках жили тогда, когда не было облав. Немцы бросали дивизии на партизан. С дивизи-

Гена Тюнин среди партизан отряда Г. Ф. Медникова, 1943 г.



ями бороться мы не могли. Там же какое вооружение, обученные солдаты, одежда! У нас были автоматы ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), потом пулеметы Киселева. Были еще автоматы ППД (пистолет-пулемет Дегтярева). Они такие были, что если песок попадет, то все, хана. Пока гайку открутишь, уже всех пристрелят.

На одном месте не сидели. Были с партизанами в Белыничском, Кличевском, Березинском, Могилевском районах.

В отряде были разные люди: из местных, военнопленных, из Могилева. Я не обращал внимание на национальность — никакой разницы. У нас разговоров про национальность не было. Это я твердо говорю. В боях много винтовок нам досталось, пулеметы, я даже парабеллум себе раздобыл.

На левом берегу реки Вабич, которая впадает в Дзурь, завязался бой. Мы не думали, что немцы смогут туда дойти. Мы не были готовы. Убили тогда Кольку Крученного (Крученный — это была кличка из-за кудрявых волос). Второго партизана ранили. Его кое-как перевязали и оставили в болоте. Что могли сделать? И меня одного с раненым оставили. Сторожить. Кругом волки были. Так мы разрядили патроны, обсыпали кругом землю порохом и подожгли. Порох прогорел, но волки лезут все равно. Стрелять нельзя, чтобы себя не выдать. Я передергивал затвор — волки этого боялись. Под утро на рассвете пришли наши партизаны за раненым и меня забрали. Я уже и не помню, страшно ли мне было, наверное, страшно. Не знать обстановки — это самое страшное дело.

В 1941 году оружие было только то, что у немцев смогли отобрать, или то, что нашли в лесу, на

полигоне за Друтью. Тол из 200-миллиметровых мин для минометов выплавляли на костре. Тол без резонатора не взрывается.

Зимой мы дороги не минировали. Летом на шоссе стояли немцы и проверяли каждый километр. Минирование — это ювелирная работа. Такая фанерная коробочка с 200 граммами тола с отверстием, в нее вставляется медный зарядник, потом чека выбивается. Снаряд или что-то железное положить нельзя, потому что немец с миноискателем найдет. Рядом кладется еще 2—3 шашки грамм по 400 тола, и эта маленькая коробочка становится резонатором. Наедет машина — и коробочка взрывается, вслед за ней остальной тол взрывается.

В нашем лесу, в Городище, с восточной стороны гарнизон стоял (немецкий), с другой стороны, в Овсянковичах, тоже гарнизон стоял. Решили перекрыть нам кислород, уничтожить нас. Мы опередили, напали на зорьке. Они не ожидали такого. Некоторые сумели убежать, но очень многих уничтожили. Остальных привели к Друти, к той дороге, по которой коров на водопой водили, и там расстреляли. А что с ними было делать? Немцев в гарнизонах было немного, в основном, полицейские.

А потом Белыничи. Там, в районном центре было сложнее. Полицаи и немцы все удрали в монастырь, а монастырь взять мы не могли. Дали мне деревенские штаны, рубаху, разлохматили волосы, и я перед нападением ходил, смотрел, где у них там что находится. Ходил по хатам и просил хлеба, а сам смотрел, где окопы, где огневые точки, где пулеметы установлены.

Когда наша армия подошла, мы были в деревне за Друтью. Там был построен мост. Мы случайно

встретились с охранением наступающего полка и так соединились с армией, пошли вместе с ними в Буйничи. Там распределили: кого на работу, кого на фронт, а меня, 14-летнего, никуда. Дали справку, что был в партизанах, и все. Я сначала искал, что бы поесть, а потом отец появился. Его перевели в могилевское паровозное депо работать. Потом из деревни вернулась мать... Всю войну мы ничего друг о друге не знали.

Начали жить вместе. Жили у каких-то знакомых. Поселили несколько семей вместе. Жили тесно, один на другом, но относились друг к другу хорошо. Бабушкин дом и все вокруг сожгли. Весь левый берег Днепра был сожжен. Домов и улиц не было. Местность сделали пустой и ровной, чтобы наши не могли наступать. Это, конечно, немцам не помогло.

Потом, когда мне 14 с половиной лет исполнилось, пошел с отцом в депо. За месяц меня выучили на курсах помощников машиниста и отправили на работу на паровоз ОВ (мы его называли «овечка») помощником машиниста. Как поступил учиться, выдали рабочую карточку. Давали на маршруте на 12 часов смены кусочек хлеба, кусочек сахара и тоненький кусочек американской колбасы. Я все это сразу проглатывал. И мама еще что-то давала с собой. Надо было топить топку паровоза. Я попрошу у тетки в лейку нефти, залью, дверцу топки закрою. Все есть — и пар, и вода. Потом прошу у машиниста польского жирного угля, а подмосковный не горел совсем. Он мне даст немного. Брошу его в топку, хорошо горит. Перед тем, как сдать смену, надо выдрать котел, очистить тряпкой с керосином пыль. Длинной лопатой очищали топку, кочергой про-

талкивали горячий шлак, сначала слева, потом справа. Очень тяжело было. Приходил с работы, садился на табуретку, мама меня немного умывала, и я ложился спать. Так я работал несколько месяцев. Потом отец увидел, что дух уходит из меня, сил не хватает, и отправил меня в школу.

Фельдман Михаил Соломонович, 1936 г. р.

Я родился в Могилеве в семье рабочего. Папа — Соломон Исаакович, 1902 г. р., мама — Соня Михайловна (Сара Мейлаховна), 1901 г. р. были родом из Могилева. Вся их родословная из Могилева. Из бабушек-дедушек я помню только отца мамы, печника Мейлаха Мессингера. Он умер в 1939 году. Похоронен на еврейском кладбище.



Мама была в семье старшей. У нее были еще брат Исаак (он с семьей уехал в эвакуацию) и брат Яков (эвакуировался с семьей в Куйбышев). В оккупации остался муж маминой сестры Драбкин, офицер. Он работал в пожарной части и был оставлен для обороны города. Никаких сведений о нем мы найти не смогли.

В нашей семье было 5 детей: Маня (Мария), 1930 г. р., Нина, 1933 г. р., Паша, 1938 г. р., Шура (Александр), 1941 г. р. Папа был рабочим на кожзаводе, коммунистом, депутатом горсовета.

Помню бомбежки Могилева. Погреб на огороде делали, чтобы прятаться. Помню, как рвали у соседей лопухи, чтобы замаскировать погреб.

В начале войны папе, как депутату горсовета, дали 10 дней на эвакуацию большой семьи. Шура

было только 20 дней. Дали персональную подводу. Мы жили на Луполово в большом собственном доме. Там и живность была, корова. Во время войны наш дом, как весь район Луполово, сгорел.

В эвакуацию мы поехали в начале июля. Кроме нас, ехала мамина сестра Бася Мейлаховна Мессингер (она была одинокая) и глухонемой брат Шолом. Папа завез нас в Башкирию, в Стерлитамак. Мы ехали в товарном вагоне. Была трехдневная остановка в Юрюзани.

Мама и тетя работали, а мы бегали, в садик ходили. Грибы собирали, лук, делали коньки себе и проволокой прикручивали. Старшей сестре было поручено нас нянчить. Жили мы все вместе. Дядя Шолом умер в эвакуации. Бася с мамой работали на заводе Ленина, делали патроны и содержали семью. Мы не голодали.

Семья Фельдманов и Болотинных, Могилев, 1961 г.

Папа отвез нас в Стерлитамак и там был призван в армию. Прошел всю войну связистом. Он был контужен, ранен. Его война окончилась в госпитале в Румынии.



В конце 1944 года папа приехал за нами из госпиталя, и мы вернулись в Могилев. В Могилеве папа пошел на свой кожзавод, был директором кожно-сырьевой базы до пенсии, а на пенсии стал мастером.

Мама, сестра, папин брат Григорий Соломонович и их семья уехали в Израиль. Старшая сестра Маня вышла замуж за Григория Болотина.

Около восьми лет назад меня нашла двоюродная сестра Лили Симан из Мехико, дочь папиной сестры Фрумы. В 1923 году 21-летняя Фрума Фельдман, оставив в Могилеве мать, братьев и сестер, одна отправилась в Вильнюс и оттуда на корабле в Америку. С собой у Фрумы был паспорт, выданный в Москве и подписанный самим Генрихом Ягодой, и немного денег, присланных на билет родным дядей из США.

В США Фруму сразу не пустили, и она осталась дожидаться визы и приглашения от дяди в Мексике (в Мехико). Ожидание затянулось. К тому времени, когда девушка, наконец, получила известие от жены дяди, что тот покончил жизнь самоубийством, потеряв все деньги в американском кризисе, и визу она не получит, у Фрумы деньги также закончились. Вернуться домой ей было не на что, и в США ее никто не ждал. В те времена в Мехико уже жило немало евреев. Через еврейскую общину Фруму Фельдман

Михаил Соломонович Фельдман с двоюродной сестрой Лилей Симан возле могилы отца на еврейском кладбище, Могилев, 2007 г.



познакомили с одним еврейским господином, который имел швейную фабрику. Девушка научилась шить, этим она себе зарабатывала на жизнь. Еще она могла делать уколы и подрабатывала как медсестра (возможно, она научилась этому в Могилеве). Мексиканские швеи научили ее говорить по-испански. Они называли ее Фани.

Красивая девушка с каштановыми волосами и светло-кариими глазами играла в спектакле идишского общинного театра. Там она познакомилась со своим будущим мужем Исааком, евреем из Несвижа, который был в театре сценаристом. В 1925 году они поженились, через год у них родилась дочь Аида (Itele на идиш), затем еще четверо детей, которые, став взрослыми, создали свои семьи (все женились и выходили замуж за мексиканских евреев), у них рождались свои дети, внуки и внучки бабушки Фрумы из Могилева.

И вот (хотя и сама уже бабушка пяти внуков), она решила найти ответ на вопрос, который мучил ее бабушку всю жизнь: что же стало с ее родными в Могилеве?

До войны Фрума часто писала на родину, но ответы приходили все реже, а однажды пришло письмо, что Соломон, один из ее братьев, стал депутатом горсовета и переписка с родственниками за границей может стоить ему работы, а то и жизни.

Когда кто-то приехал в Мексику и рассказал, что все евреи из Могилева были убиты, Фрума перестала рассказывать о Могилеве, она считала себя виноватой в том, что не смогла вызвать своих близких в Мексику и тем спасти их. Бабушка Фрума умерла в 1970 году еще до перестройки. Она так и не узнала о судьбе семьи Фельдман.

В поисках своих родственников внушка Фрумы, уже сама бабушка, Лили Симан с мужем Хайме приехали в Могилев. Она пришла в еврейскую общину и там мы встретились. Как это ни удивительно, мы сразу поняли друг друга, потому что знаем идиш.

Черковский Бронислав Владимирович, 1938 г. р.

Мой дед, Павел Черковский, — внук богатого помещика Корсака. Было у Корсака обыкновение приезжать в свою деревню и брать в прислуги каждый раз новую молодую крестьянку из крепостных. Моя прабабушка была одной из таких крестьянок. Когда у нее родился сын, Корсак его признал и определил в крестные отцы своего друга Черковского. Мальчику дали фамилию крестного и имя Викентий. Корсак уже был немолодым человеком, и все свое состояние завещал Викентию.



Викентий Черковский после смерти отца стал очень богатым человеком, но быстро промотал все состояние. Его девяти наследникам пришлось самим зарабатывать на жизнь. Кто-то жил в Польше, кто-то в Беларуси. Один из них, мой дед Павел Викентьевич Черковский, воевал в Первую мировую войну. В 1933 году дед приехал в Могилев и купил добротный дом на Струшне у большой еврейской семьи Булох. К дому была пристроена веранда для торговли. Там он жил с женой и двумя детьми.

Его сын, мой отец, Вадим Павлович Черковский, окончил рабфак, работал на могилевской

шелковой фабрике. Был призван на Финскую войну, стал кадровым офицером, командиром расчета на гаубице.

Женился папа на дворянке Янине из старинного рода Дробушевских. Три поколения Дробушевских жили в своей родовой деревне Черногрязь в 25 километрах от Быхова. Отец мамы и муж бабушки, Юзеф Дробушевский, был дворянином «шестой книги», т. е. из древнего благородного дворянского рода, и был человеком небедным. В имении Черногрязь у него был большой сад и много лошадей. Когда у Юзефа родились дети (а их было пятеро), он ради игры давал им поднимать шапку золотых монет. Перед революцией прошел слух, что золото в монетах стирается, и они будут дешеветь, и тогда Юзеф обменял все монеты на бумажные деньги.

Вадим Черковский, отец Бронислава, Могилев, 1930-е гг.



Дед Юзеф женился в 42 года, когда вернулся домой после бурной молодости, на девушке Марии Николаевне Вераксо из деревни Межонко Бельничского района (36 километров от Могилева), по тогдашним меркам уже немолодой — ей было 27 лет. Ее родители умерли, и она тянула всю семью, все хозяйство и воспитывала своих трех младших братьев.

На Анте, родной сестре бабушки Марии, женился брат деда Игналь. Братья

построили два дома, посадили два дуба, которые и сейчас стоят.

У бабушки Марии было четыре дочки и брат-близнец мамы, Бронислав. Еще до войны он уехал на Дальний Восток и стал министром Дальневосточного края. Меня называли в честь него. Дед Юзеф Павлович умер в 1938 году.

Я родился в Могилеве, но перед самой войной наша семья: мама Янина Иосифовна, папа Владимир Павлович, сестра Леонора (она была старше меня на 4 года) и я жили в Бобруйске в так называемом Доме коллектива.

Я помню себя уже в три года, в 1941 году: гуляю около дома, рвутся снаряды, мать бежит, ищет меня, находит, домой ведет.

Отец во время боевых действий около Слуцка попал в плен, бежал, пришел в Бобруйск. Из Бобруйска мы по дороге пошли пешком в Могилев. Двигались только ночью.

Мы с сестрой и мамой остались в деревне Черногрязь у бабушки, а отец пошел в Могилев к родителям. Он устроился работать на шелковую фабрику, и очень скоро мы с мамой тоже пришли в город. Отец был офицером, членом партии — в то время это надо было скрывать.

Запомнилось, как в начале войны дважды бомбили Могилев. Говорили, что один раз бомбили немцы, а второй раз — наши. Во время

Янина Черковская-Дробушевская, мама Бронислава, 1930-е гг.



бомбежек мы прятались в подвалах в овраге на Струшне.

Совсем рядом, метрах в 300 от нашего дома, в начале войны было еврейское гетто. Сам я этого не помню, но рядом с нами жила Майка Павлова, она рассказывала. Майка была старше меня лет на десять. Ее мама была еврейкой. Майкина мама — полная женщина, была не похожа на еврейку, но видно кто-то сказал немцам о ее происхождении, и ее забрали в гетто. Отец Майки был русским, он сумел как-то вытянуть жену из гетто. Они остались живы.

Наводнение на Дубровенке, Могилев, апрель 1942 г. Фото из фондов Могилевского областного краеведческого музея

В апреле 1942 года случилась беда — наводнение на Дубровенке. В тот день была прекрасная погода, и мы гуляли на улице. Вдруг сестра заметила надвигающуюся со стороны железной дороги огромную волну и закричала. Мама схватила сестру, Леля потянула меня за руку, мы успели подняться на пригорок. Наш дом стоял у самой речки. По самую верхушку он погрузился в воду. Не более чем через 5 минут вода спала. Мама



зашла в дом и увидела бабушку и дедушку в их комнате, уже мертвых. Тетя Женя, папина сестра, еще хрипела. Наверное, ее можно было спасти, но мама растерялась и только кричала. Когда отец пришел с работы, его родные уже были в гробах. Я был маленьким, ярче всего мне врезались в память не мертвые близкие, а красные цветочки возле их гробов.

Отец хорошо знал по службе в Бобруйске командиров партизанских отрядов офицеров Османа Касаева и Павлова. Он как-то быстро вышел с ними на связь и стал работать на партизан. Маме отец ничего не рассказывал, говорил, что расскажет как-нибудь потом, берег ее и детей. Папа ходил к партизанам, а мама думала, что у отца появилась какая-то женщина. Мама очень ревновала отца, когда он пропадал куда-то на несколько дней.

Зимой 1943 года отец на Быховском базаре купил шапку-кубанку. За отворотом в шапке была спрятана записка с заданием от партизан: убить

Здание гестапо в Могилеве. Сейчас здесь располагается Могилевский государственный областной лицей №1. Фото 1941—1942 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



начальника русской полиции Андрея Лазаренко и с семьей уходить в партизанский отряд. За отцом следили, заметили, что у него другая шапка. Его взяли с этой шапкой, всю ее изорвали на кусочки. Отца забрали в гестапо (сейчас в здании гестапо находится лицей). Там отец сидел в камере 10 дней. Его допрашивали. На допросы в гестапо вызывали мать, сестру. Допрашивал Лазаренко. Мать хорошо запомнила его и, как потом выяснилось, он ее тоже.

Отца расстреливал Лазаренко лично, прямо во дворе гестапо. Он убил его выстрелом в затылок. Тогда расстреляли 11 человек. Приговоренные сами выкопали яму во дворе. Весной останки убитых увезли в район Печерска и там сожгли. Все эти подробности мы узнали только в 1963 году.

Летом 1963 года в Доме культуры завода им. Куйбышева проходил суд над Андреем Лазаренко и двенадцатью его пособниками. На суде было много людей — те, кто не помещался в зале, стояли на улице под громкоговорителями. Мама была там общественным обвинителем, свидетелем. Она приходила на очную ставку с платочком, в котором была спрятана бутылочка с нашатырем. Все время сжимала платочек в руке, боялась не выдержать. Лазаренко маму не узнал: на допросы в гестапо приходила красивая, стройная темноволосая женщина, а в суде сидела седая старуха. Сестра Леля тоже ходила на суд, а я в это время уже жил на Урале, играл в театре. Лазаренко расстреляли.

До суда отец считался «пропавшим без вести». После суда маме стали платить хорошую пенсию за отца.

Зимой 1943 года, через неделю после папиного расстрела, к нашему дому подъехала грузовая машина, нас отвезли на вокзал, посадили на поезд и привезли в Литву в город Алитус. Мать осталась с вещами, а мы с сестрой пошли на дезинфекцию. Из лейки нас облили какой-то жидкостью, потом мы помылись и вернулись к маме. Сначала всех поселили в каком-то большом одноэтажном здании без окон. Это было что-то вроде распределительного пункта. Топили по-черному. Людей было много: женщины, дети, старики. В дом, где нас держали, приезжали литовские крестьяне и увозили людей к себе на работы. Нас никто брать не хотел, потому что у мамы было двое детей. Как-то к нам пришел ксендз и посоветовал маме записать одну сестру, а меня спрятать в солому на возу. Так и сделали.

Нашу семью привезли в лагерь, который находился в деревне недалеко от Мариамполя (Мариамполе). Это было огороженное забором здание школы. Нас охранял только один немец. Было много детей. Кормили нас вареной репой. Однажды из котла мы вытащили нижнюю губу лошади. Мы, дети, бегали с этой губой и смеялись. Дома была фотография из этого лагеря, где маленькие дети стоят возле гроба ребенка, к сожалению, сейчас я ее уже не нашел.

Мама каждый день ходила на сельхозработы, молотила. Однажды Леонору взяли на работу в няньки, но она очень быстро вернулась. Сбежала. Сестра со старшими ребятами пролезала под забор, заросший высокой травой, и бегала в Алитус. Они пели советские песни и им давали за это хлеб.

В этом лагере мы провели полгода, до лета 1944. Уже были слышен грохот артиллерийских

выстрелов. Однажды утром вышли, а охраны нет и в деревне пусто. Все жители ушли за речку прятаться от боевых действий. Люди из лагеря стали выходить и идти в город. Там тоже было пусто.

Высадился советский десант. Парашютисты стали разбивать магазины. Помню, как солдат оттолкнул ногой ящик со спичками и они рассыпались, а я знал, что спички очень дорогие. Мы заняли какую-то пустую квартиру. Принесли из магазина мед. Советские солдаты сказали, что всем надо уходить за город, потому что будет артподготовка. Мы спрятались в траншеях. Там провели ночь.

*Янина
Черковская
с детьми,
Могилев,
середина
1940-х гг.*

Утром на рассвете пошли в атаку наши солдаты. Женщины от радости бросались на них, благодарили, а солдаты отталкивали их. Потом мы опять вернулись в ту пустую квартиру. Но в квартире были уже наши солдаты, которые ели



мед, что мы принесли. Через какое-то время пришла хозяйка — литовка Идюшкене с детьми. Нас не выгнали. Мы быстро научились говорить по-литовски, общаясь с детьми.

Долго не могли вернуться в Могилев. Все поезда шли только в одну сторону — на Запад. Пустые вагоны, чтобы освободить пути, сбрасывали с рельсов и пропускали новый состав. Потом все же стали отправлять назад пустые вагоны, и однажды мама собрала нас и мы сели в поезд. Шли составы медленно, с остановками. Мама взяла с собой два кирпича и готовила на обочине нам какую-то еду на костре. Как-то поезд неожиданно тронулся. Мама успела передать нам кастрюлю и побежала за кирпичиками, но сесть на поезд не успела, и мы уехали одни.

У старшей сестры была договоренность с мамой, что делать в таком случае, но все равно было очень страшно. Мы ждали маму у путей на следующей станции, отказывались от всех предложений зайти в здание вокзала или еще куда-то. Все время сидели у путей. Мама приехала только через два дня.

В дороге я не выпускал из рук подобранную где-то в Литве маленькую металлическую перечницу в форме собачки. Так и привез ее в Могилев и долго-долго долго хранил. Других игрушек я не помню.

За то, что мы были на принудительных работах, мы никаких компенсаций не получили, ни одной справки не было.

Мы вернулись в освобожденный Могилев осенью 1944 года. В нашем доме уже жили две семьи, и нас не пускали. Поехали к бабушке в Черногрязь. В старом доме жили мы с бабушкой

Марией Николаевной и тетей. Было очень голодно. Собирали гнилую картошку с полей, делали оладьи. Откуда-то с Украины мама привела козу. Появилось молоко. Стало легче. Вместе с сестрой пошли вместе в первый класс в 1945 году. В одной комнате занимались четыре класса.

Примерно через год мама все же сумела через суд вернуть наш дом на Струшне. Даже после суда семьи, которые захватили дом, выезжать не хотели. Когда жильцы были на работе, мамины знакомые вынесли их вещи на улицу, и мы смогли вновь вернуться в город.

Черненко (Багура) Зинаида Степановна, 1936 г. р.



Я родилась в деревне Галени Недашевского сельсовета Могилевского района.

К началу войны у мамы Ефросиньи было двое детей и третьим она была беременна. У меня был старший брат Шура, 1934 г. р., который потом погиб на фронте. В 1942 году родился брат Иван. Мне запомнилось, как летом 1941 года к нашей хате подъехала машина, в которой сидели мужчины. Отец Степан тоже сел в эту машину. Мужчины затянули песню и уехали. Мой папа очень хорошо пел. Мама долго плакала. И только спустя время я поняла, что началась война и отца забрали на фронт.

Сказали, что будет немецкое наступление, и нас, детей, прятали в березнике, в лесу. Парни выкопали землянки, закрыли их ветками. Помню, как на нас лил дождь сквозь ветки. Родители

приходили из деревни, приносили нам еду. Потом приехали какие-то машины, мотоциклы с немцами. В деревне ходили немецкие часовые. Нас из нашей хорошей хаты выселили к соседке, у которой было пятеро детей. Было очень тесно. Спали на полу. В нашей хате, здании школы и некоторых других домах поселились немцы.

Немцы, проходя мимо нашей хаты, все говорили маме: «Русиш швайн». Мы, дети, бегали на луг и собирали цветы. За букетики немцы нам давали по паре конфет.

Немцы у нас жили с год. Они забирали у людей скот, откуда-то привозили животных. Резали коров в песчаном овраге за нашим домом, недалеко от кладбища. Себе они брали только чистое мясо. А наши бабы ходили туда, брали оставшиеся головы, кости, ноги, кожу, чтобы хоть что-то сварить детям. Останки животных гнили и очень воняли. Мама, другие женщины и оставшийся в деревне мужчина-инвалид закапывали их сами.

Потом мы были выселены и из соседского дома. В 1941 году мы, дети, зимовали в каком-то амбаре. Особенно прятали подростков 16—17 лет. Взрослых гоняли куда-то на работы.

Немцы были набожными. Они каждое воскресенье устраивали службы,

Мальчик в деревне под Могилевом. Фото 1941—1942 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



молились в церкви на своем языке и очень красиво пели. Возле церкви также немцы оборудовали свое кладбище. Туда привозили хоронить мертвых, убитых немцев.

Однажды приехало в деревню много немцев на машинах. Всех-всех жителей загнали в колхозную пуню. Только немногие ребята постарше смогли тогда убежать в лес. Помню шум, гвалт. Потом приехала какая-то небольшая машинка, вышел немец. О чем-то он поговорил с «местными» немцами, и все солдаты погрузились на машины и тут же уехали. В тот же день вместе с жителями сгорела деревня Красница. Говорили, что немцы перепутали названия: «Красный партизан» (так назывался наш колхоз) и Красница (партизанская деревня, которую и собирались сжечь).

*Горящий дом
в деревне под
Могилевом.
Фото 1941—
1942 гг. из
коллекции
Олега
Давида
Лисовского*

В нашей деревне жили и мамыны родители — дедушка Макар и бабушка Суклида. Дедушка как-то стерег в лесу партизанских коней. Кто-то на него донес (говорили, что это



староста Петр). Однажды ночью к дому дедушки подъехала машина. Вышли несколько мужчин в штатском, позвали деда и стали его избивать прикладом, били по голове. Из дома выбежала бабушка. Их вдвоем погрузили в машину и привезли в Могилев в лагерь для военнопленных (теперь на месте того концлагеря на улице Шмидта памятник стоит). Потом, видно, про них забыли и их спрятали в сено и вывез на телеге знакомый охранник. Дед после того избиения навсегда оглох.

Вместе с дедушкой и бабушкой жила с маленьким сынишкой их дочь, моя тетя Маруся. После ареста родителей приехали за Марусей. Она спряталась в рожь. Она была такая красивая, что до войны в клуб на танцы специально ходили на нее смотреть. Полицаи ее нашли, но пожалели ее красоту и не забрали.

Бомбили нас только в 1944 году перед освобождением. Опять увели всех в березник, в окопы.

Крестьяне из деревни под Могилевом.

Фото 1941—1942 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



В лесу сидели все жители деревни — и дети, и взрослые. Тогда разбомбили школу, мост через речку Чернявку, некоторые дома. Немцы убегали по оставшимся от моста доскам. Через деревню проходили солдаты, танки. Но наш дом уцелел.

После войны деревню долго отстраивали. Сидел в тюрьме из наших односельчан за военные преступления только Петр. Он отсидел 25 лет. Когда пришел, грозился все хаты сжечь. Нанимали тогда сторожа.

Черняк Евгения Петровна, 1931 г. р.



Мама, Александра Антоновна Лесневская, происходила из богатой семьи. Ее отец, дедушка Антон, жил в деревне Оглобля около Круглого (сейчас этой деревни нет). Все эти земли принадлежали ему. У него было 80 гектаров леса, а пахотной земли еще больше, 22 коровы, а лошадей, свиней и овец по загонам еще больше. Поштучно стада никто и не считал. Работники приходили из окрестных деревень. Батрак был один, жил у него. Хотя об этом тогда говорить было не принято, мама мне это все рассказывала.

Мама рассказывала, что крестьяне уже утром, на рассвете, сидели на бревнах, ждали, когда дед выйдет, чтобы спросить: «Антон, ты есть работа?» Дед давал работу: кому сеять, кому пахать, кому скот пасти, кому лес пилить. За рабочие дни он ставил палочки, а осенью рассчитывался зерном, медом. Сам дед Антон продукты в Могилев на продажу не возил. Приезжали к нему купцы

и покупали воск, мед, зерно. Молочные продукты люди сами ели, скоту скармливали.

Работников кормили очень хорошо. Каждую субботу резали 3—4 поросенка, чтобы кормить работников. Обязательно давали мясо по воскресеньям. В будние дни бабушка давала рабочим творог с молоком. В субботу и воскресенье творог был со сметаной. Однажды бабушка перепутала и в выходной вместо сметаны дала с творогом молоко, как в будние дни. Один работник попробовал, застучал ложкой и сказал: «Што, Маня, это уже беднота такая пошла, ти што, што ты такое даешь?» Бабушка, которая сама готовила еду, стала извиняться: «Выбачайте! Выбачайте!»

Дедушка получил образование, а бабушка была очень простой и неграмотной. Обычно она ходила в простой черной юбке в складку, босиком. Правда, на фотографии на ней кружевной платок, сразу видно, что не из бедных.

Дед остался в деревне, когда началась коллективизация. Он уже немощный был, дом у него не забрали. Дома рассказывали, что он все свое хозяйство сдал в колхоз. За это в колхозе ему назначили литр молока ежедневно. Вроде бы, даже в газете статья тогда про это была: «Берите пример с Лесневского».

*Антон
Лесневский,
дед Евгении
Черняк, с
дочерьми
Александрой
и Юлией,
Могилевская
губерния,
1910-е гг.*



После смерти деда мама забрала бабушку в Могилев, та была уже слабенькой. Дети все разъехались. Многие сыновья уехали в Ленинград. Часть из них были образованными, часть — зажиточными, состоятельными людьми. Но они не были помещиками. Бабушка умерла в 1937 году.

Сама я деда и бабуку уже не помню, знаю их только по рассказам. Но в дедовом доме я была во время войны. Хата, где жили бабушка и дед, была низкой, обыкновенной «двухстенкой». В одной половине рабочая часть — там ели, сидели, вторая часть — светлая, более богатая и чистая, там жили.

Во время Первой мировой войны две девушки-беженки из Лиды остановились в деревне деда. Тогда еще и их дети жили в деревне. Михаил

Антонович Лесневский, брат мамы, влюбился в одну из этих полячек-беженок. Она преподавала католикам Закон Божий в начальной школе. Дядя Миша окончил гимназию № 3 в Могилеве. Потом учился в Киевском экономическом институте. Сохранился даже документ с ценой за лекции (уже после войны я работала в этой же самой гимназии и даже не знала, что он именно там учился). Когда немцы отступили, полячка вернулась домой, а он вскорости поехал вслед

*Мария
Лесневская,
бабушка
Евгении
Черняк,
Могилев,
1930-е гг.*



за ней. Тут подписали мирный договор, и Михаил оказался в другом государстве. Дома о Мише говорили тихонько. Он был за границей, и потому об этом нужно было молчать. Тогда, если семья имела родственников за границей, — это была надежная семья. Мы ничего не знали о Мише.

Мама вышла замуж. Папа, Петр Максимович, 1895 г. р., был родом из Могилева. Он происходил из бедной семьи мещанского сословия: дед его был сапожником, отец — извозчиком. Семья была хорошей, верующей, примерной. В семье было четверо детей: два брата и две сестры. Отец учился в приходской школе, он был одним из лучших учеников, отличником. Когда он оканчивал школу, его мать вызвали в школу и попросили найти средства, чтобы их сын Петр смог продолжить обучение. Дед тогда уже умер.

*Петр
Максимо-
вич Черняк,
отец Евге-
нии Черняк,
1914 г.*

Пошли работать его брат, сестра, и отец выучился, получил звание младшего чиновника. В армии он был писарем, у него был очень хороший почерк.

До революции папа работал в какой-то конторе. После революции он все время работал бухгалтером: в организации «Заготзерно», на только что открывшемся авторемонтном заводе, в водном транспорте (в конторе около моста, которая была прямо в списанном катере).



До войны мама не работала. В семье было двое детей: я и Владимир, 1925 г. р.

Сначала семья жила в доме пожилой родственницы, которая собиралась завещать им свою халупку в районе Мышаковки. Потом мамина тетя, у которой было три дома, уговорила маму переехать в один из ее домов в район, где теперь гостиница «Могилев». Она продала два дома, а продавать сразу третий побоялась. Через какое-то время тетя вернулась и сказала, что хочет продать и третий дом. Нашей семье деваться было некуда, сами дом мы купить не смогли. Тогда тетя купила нам другой дом на Дебре. Дом оказался неудобным. Стоял он на горке, тяжело было воду носить, трудно зимой подниматься. Дом продувался и промерзал. Но деньги за дом родители должны были возвращать тете по драконовским

*Женя
Черняк,
Могилев,
1932 г.*



правилам. Если только пропустят день выплаты — растёт пеня. Отец не мог позволить себе купить мне даже «кухон», булочку, которую я всегда просила. На все мои просьбы был ответ: «Ты же знаешь, нам надо за дом платить». У нас было несколько кур и коза, которую мы с братом пасли. Мама еще до войны заболела, ей нужна была диета, молоко.

Я училась в школе №5, которая находилась на территории нынешнего завода «Строммашина».

Потом двухэтажное здание нашей школы было разрушено. Там я окончила два класса. Однажды в школе фотографировали ребят, у которых были только одни «пятерки», а у меня, хоть я была все время отличницей, оказалась одна текущая «четверка». Я пришла домой вся заплаканная. Мама испугалась, что меня побили мальчишки. Ругала меня, говорила, что некрасиво было просить то, что тебе не положено. В доме висели на стене две моих похвальных грамоты и семь грамот брата.

Самой популярной игрой и до войны, и во время войны у нас была игра в «Пикера». В нее играли и девочки, и мальчики. Ставили железную банку, палками ее сбивали и быстро разбегались. Ведущий должен был быстро поставить банку и кого-то палкой уколоть. Тогда тот, кого укололи, становился ведущим — пикером.

До войны мама готовила и первое, и второе. Это не во всех семьях было принято. Я суп не любила, а во время войны все полюбила. Даже корочки.

Очень хорошо запомнилась оборона Могилева. У отца была врожденная экзема, поэтому он был непризывной. Но его оставили по линии ПВХО дежурить на здании Дома Труда (сейчас городской центр культуры, напротив ЦУМа). Ему выдали каску, противогаз и в случае попадания зажигательной бомбы он должен был ее потушить. Их заранее этому учили. Каждую ночь, пока обороняли город, отец ходил на дежурства. Об эвакуации не думали. Никто из соседей не эвакуировался.

Почти месяц снаряды летели через наш дом в сторону вокзала. Во время обстрела мы лежали в окопе, который папа выкопал в начале войны. К

счастью, ни одного попадания не было. Во время затишья заходили домой. Большой был патриотизм у людей.

Однажды утром мы сидели в окопе и услышали голоса. Чужая речь. Мы вышли во двор. Увидели троих солдат, которые вошли к нам во двор с большими железными бляхами и автоматами наперевес:

- Юде? Юде?
- Нету, нету.
- Коммунист?
- Нету, нету.
- Матка, яйка, шпэк!

Мы ни слова не знали тогда еще по-немецки, но все поняли. Мама вынесла два яйца, сказала, что «шпэка» не было.

Отца немцы увели, тогда забирали всех мужчин. Их отвели в сторону деревни Княжицы (Ермоловичи. — *Ред.*). Там их продержали на поле под охраной всего нескольких немцев примерно две недели. Выискивали евреев и коммунистов,

Вид с днепровского моста на Могилев. Фото 1941—1942 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



чтобы убить. Не кормили. Папа говорил, что они пили воду в ямках из-под копыт скота. Отец вернулся худой-худой.

Мы, дети, смутно представляли, что такое война, хотя очень быстро стали различать самолеты по гулу: советский или немецкий, разведчик или бомбардировщик. Каждый вечер ложились спать тепло одетыми, чтобы успеть убежать в окоп, если начнутся бомбежки.

Но самый сильный страх мы пережили во время бомбежки советской авиации в конце мая 1943 года. Итоги этой бомбежки были очень плачевными для города. Я никогда не рассказывала об этом, трудно объяснить это тому, кто это не пережил. Самолеты летели тройками. Бомбили два с половиной часа. Полностью разбомбили многие частные районы, людей погибло много. После войны я слушала летчика из Бобруйска, который участвовал в этой бомбардировке. Летчик тогда рассказывал, что их забросили в город, чтобы они сделали план бомбежки. Они сидели около моста. Весь город они разбили на квадраты и бомбили

Вид на город с Дома Советов.

Фото 1942—1943 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



по квадратам. И так бомбили!.. Не знаю, что бы я ему сделала, если бы могла. Если есть Б-г, то за такое планирование бомбежки эти летчики должны быть в аду.

«Дом 90» на Первомайской, где жили немцы, не бомбили. Мы туда бегали менять яйца на кусочки хлеба, что остались с обеда. Некоторые кричали: «Вон отсюда!», а с некоторыми еще поторговаться можно было. Мы бегали по городу, просили у немцев еды. Всегда были голодными. Иногда, если хороший немец, может и конфету дать. Но многие кричали: «Вон!», и мы вжимали головы и убегали.

Открыли школы. Я пошла в школу № 16. Учительница раздала нам бумажки, учебники, раздала клей, и мы сидели и заклеивали портреты вождей, стихи о Сталине. Не помню, чтобы мы что-то учили, писали. Класс был заполнен на треть. Примерно через месяц нам сказали, что занятий больше не будет. В школе будет размещаться немецкий госпиталь. Немецких госпиталей вообще было много в городе. В машиностроительном институте тоже был госпиталь. Потом во время войны я занималась дома с учительницей.

Я видела, как немцы вывесили объявление, что на площади будут повешены партизаны. Вся площадь была забита людьми. Мы, дети, пробиться туда не могли. Поэтому залезли на кирпичные развалины и оттуда смотрели. Баловались, лезли, не понимали, что происходило. Я запомнила пару лошадей, на которых ездили по кругу полицейские. Три виселицы с помостом. Их построили заранее. Снизу от моста приехал грузовик. На грузовике стояло три человека. Всадники

освободили для него дорогу. Партизаны почему-то были одеты в теплую зимнюю одежду. На ногах были не то бурки, не то валенки. Машина задом подъехала к виселице. На мужчин набросили петли. Потом машины отъехали. Я отвернулась, когда третий упал. Только тогда мы поняли, что это убийство, это смерть. Двое висели долго, а третий потом лежал на земле. Немцы, полицейские что-то говорили. Потом машину снова подогнали под виселицу и того, кто упал, повесили еще раз. Машина отошла, он опять упал. Когда третий раз его вешали, площадь гудела, кричала, возмущалась: «Сволочи! Негодяи!» Кричать было безопасно, потому что немцев и полицейских немного, а народу целая толпа.

Потом родители рассказали, что есть такое неписанное международное правило, что даже если после первого повешения веревка оборвалась, и тело упало, это значит, человеку покровительствует Бог, дает ему шанс на жизнь. В третий раз веревка оборвалась снова, но упал уже труп. После этого мама потом запрещала идти мне в город.

Казнь моголевских подпольщиков на Советской площади. Фото 1941 г. из коллекции Олега Давида Лисовского



Во время войны мама очень болела. У нее был камень в печени. Маму то выпишут, то снова кладут в больницу. Но лечение было только стрептоцидом, и его покупали сами.

Мама тогда лежала в больнице и контроля за мной, как раньше, не было. Все время очень хотелось есть, так мы с подружкой ходили на Быховский базар хоть посмотреть на еду. А на рынке продавали и бабку, и тушеную картошку.

Однажды, когда мы возвращались с рынка и только поднялись к театру, кто-то внизу на Дубровенке стал кричать: «Ой, ой! Полицаи, полицаи!».

Переселение евреев в могилевское гетто. Фото августа 1941 г. из Федерального архива Германии

Возле еврейского дома стояла машина «воронок». Я не помню, были ли там немцы, но полицейских в черной форме и с повязками запомнила хорошо. Я видела, как они повели в эту машину женщин, детей, а мужчина-еврей бросился бежать под гору, полицейский в него целился. Мы с подружкой притопывали и кричали: «Быстрее, быстрее!» Рядом другие люди стояли



и тоже что-то кричали. Полицейский выстрелил, и мужчина сразу покатился вниз с горы. Тогда я впервые смерть и увидела. Для меня это было такое потрясение, что я стала ночью пачкать постель. Чтобы я успокоилась, мама давала мне пить какую-то траву.

Тогда еще не понимали, что всех евреев убивают. Родители обсуждали с соседями то, что я видела, и очень возмущались: «Ну, заберите, если надо, но зачем убивать?» — говорили они.

Видела, как вели группу евреев со звездами на одежде по улице Первомайской или Ленинской в сторону Луполово.

В другой раз мы бегали и играли внизу на Дембре возле спуска у Дома Советов. Мы увидели, как сверху бежит мужчина. Он побежал направо вдоль реки. На расстоянии метров 50 вслед за ним несется полицейский. Мы, дети, бросились вслед. Добежали до горы под старым зданием школы № 9 и увидели, что полицейский, уже неспеша, выходит из дома с открытой калиткой. У калитки плакала женщина. Мы спросили у нее, где тот мужчина, что бежал. Женщина ответила, что он у нее в погребе. Полицейский его там убил. Это был еврей.

В первое время, когда еще у нас была картошка, мы с мамой рано утром пошли к Дому Советов. Там было уже много людей. Все откуда-то знали, что будут вести пленных. Мама несла кулек с вареными клубнями. Пленные тянули руки, а женщины давали им в руки еду. Нас никто не гонял. Охрана была не очень плотная. По-моему, их немцы вели.

В ноябре я даже ходила в Кадино перекапывать замерзшую картошку лопаткой. Надо было

ее принести, быстренько почистить и сварить, до того, как она разморозится и почернеет. Брат пошел учиться на жестянщика, клепал печки к трубам. Но он ничего не зарабатывал, чтобы зарабатывать, надо было иметь материал, а жести не было.

Отец недолго работал учетчиком молока в каком-то небольшом здании на спуске напротив театра. Там иногда можно было выписать молока, кожу коров (мы ее обсмаливали и варили с картошкой или чем-то) и этим поддерживаться. Хлеба нам полагалось 100 граммов в день. Хлеб был колючим, обсыпанным шелухой гречки и овса, наверное, чтобы форму держал.

Соседка рассказывала, что немец давал ей конфеты. Но вообще к нам на Дебрю немцы не спустились.

Когда в 1943 году наши заключенные сбежали из тюрьмы гестапо, подпоив охранников, один из беглецов прибежал к нам. Все женщины-старухи кормили его. Приносили картошку, хлеб. Это был истощенный молодой человек. Одна из соседок все просила не давать ему много еды, потому что от этого может быть заворот кишок, а другая соседка вынесла даже котлетку. Позже вторую соседку вместе с дочерью, матерью и племянником расстреляли немцы. Дочь работала в госпитале и вынесла ножницы, бинты. Немцы считали, что раз вынесла, значит связана с партизанами. Второй племянник Рома ушел в партизаны и умер от тифа сразу после освобождения.

Моя тетя рассказывала, что ее муж дружил с музыкантом Мысовым. Они семьями собирались дома, играли на фисгармонии, скрипке,

разбирали музыку, подписывали ноты. Мысов был русским, а его жена — еврейкой. Когда тетья была в гостях, приехала машина-«ворон» за его женой и дочками. Мысов не давал их забрать, отшвыривал полицейского, дрался, уцепился за борт машины. Полицейские так обозлились, что сказали: «Хочешь с ними? Иди!». Подхватили его вдвоем и втащили в машину. Расстреляли их всех вместе. Сумел спастись только сын, которого дома не было. Он ушел в партизаны.

Одна из сестер отца вышла замуж за музыканта Грайко Федора Максимовича, который в Гродно преподавал в семинарии духовную музыку. Во время войны Федор Грайко работал регентом в Трехсвятительской церкви. В 1943 году он внезапно умер.

Во время войны страх заставил верить всех. Потом из нас это выветрилось, но тогда мне это нравилось. Я во время войны ходила слушать в церковь хор. Мать научила читать молитвы.

Я была свидетелем наводнения на реке Дубровенке в Могилеве в 1942 году. Шли мы с двумя подругами с рынка, только поднялись к театру, видим — снизу от реки бегут люди. Слышен крик. И мы побежали. Пока добежали, волна уже поднялась, но потом схлынула. Мы, не подумав, что она может повториться, спустились вниз. Трупов, конечно, не было. Их снесло вниз. Но и многих домов уже не было. Последний кирпичный дом налево — баня, ее полностью не снесло. Мы заглянули в окна моечной. Шайки были доверху насыпаны песком.

Женщины голосили, плакали, искали погибших. Они рассказывали, какая огромная шла волна. Бывшие еврейские дома, у которых низ был

кирпичный, а верх деревянный, срезало водой. Кирпичные кладки оставались, а окон и дверей не осталось. Виднелся один деревянный дом, который был снесен с фундамента. Он стоял боком. Я хорошо запомнила, что женщины рассказывали о том, что когда волна неслась, она абсолютно все сметала на пути. Деревянные дома короткое время плыли по реке. Некоторые люди залезли на чердак. Оттуда дети, взрослые кричали: «Помогите!» Потом этот дом переворачивался, и все. Дом исчезал в воде.

Шкловский базар был полон водой. Люди кормились с базара, там было очень много народу. Наверное, в тот день тысячи людей погибли, всех снесло в Днепр.

Наводнение на Дубровенке, Могилев. Фото апреля 1942 г. из фондов Могилевского областного краеведческого музея

Первое, что на моей памяти сделали немцы, когда готовились к обороне — повесили в Подниколье объявление о том, что район надо освободить в связи с тем, что там будут строиться оборонительные сооружения. Подниколье — это был район города, застроенный деревянными домами с черноземной землей. Там под горой жили



две двоюродные сестры отца. Они с вещами переехали к нам в дом.

Я лично видела, как этот район поджигали. Полицейский подходил с палкой, на которой что-то намотано, окунал палку в ведро с горючей жидкостью. Палкой раз-раз, — смазывал дом по углам. Второй полицейский что-то бросал на углы. Дом вспыхивал, как факел. Мы видели через окна, что в домах оставались вещи, пианино. Люди не могли забрать их с собой. Долго горело Подниколье. Сгорел и дом наших родственников. Мы смотрели на пожар сверху от городской больницы. Сгорело все, кроме монастыря. Те, у кого были родственники, переходили к ним. Куда девались остальные, не знаю. Разное говорили: уходили в деревни, забирали в концлагеря, угоняли в Германию.

Потом то же самое произошло с районом Луполово. Там тоже было объявление. Брат моего отца, который жил на Луполово, тоже переехал к нам. На Луполово сожгли только ближнюю часть

Район Подниколья сразу после освобождения Могилева.

Фото 1944 г. из фондов Могилевского областного краеведческого музея



к Днепру, ту, где теперь улица Гагарина. Дом дяди тоже сожгли.

В конце декабря 1943 г. такое же объявление о выселении повесили и у нас на Дебре. В нашем доме было уже 7 человек на 3 маленькие холодные комнатки. Выселяться нам было некуда, дров не было. Мама была совсем больная. К нам пришел какой-то мужчина и сказал, что на следующий день нас уже не должно быть в этом доме. «Можете идти на вокзал. Там стоит поезд. Вас развезут по районам». Мы решили, что деревня — это все-таки надежней. Там хоть картошина какая найдется.

Гражданское население Могилева угоняют в Германию. Фото 1942—1943 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского

Мы загрузились в чьи-то сани с лошадью, взяли постель, какие-то необходимые вещи и сели в старые, дырявые деревянные вагоны. Мужчины еще забивали дырки в полу и стенах какой-то фанерой. Полный поезд бездомных людей везли через всю Беларусь. Долго стояли, пропускали военные эшелоны. Голодали.



Приехали в Литву, в Алитус, и тут все забеспокоились. Помню эти разговоры взрослых, волнения. Люди уже говорили, что в Алитусе отбирают тех, кто годен, в Германию, а остальных куда-нибудь сплавляют. Если есть молодые, то когда поезд медленно-медленно будет подъезжать к лагерю, можно будет спрыгнуть и убежать. Мой брат и еще трое парней так и сделали. А меня, маму и отца завезли в лагерь. У мамы была карточка, что больная. Отцу кто-то посоветовал натереть глаза луком, потому что немцы очень боятся трахомы. Глаза у папы стали очень красные. Теперь я думаю, что это было очень глупо, потому что если бы был врач, он бы сразу распознал обман, а за обман могли и расстрелять.

Я видела бараки с маленькими окнами. Лагерная сортировка располагалась прямо в одноэтажном здании бывшей конюшни. Там были арки для лошадей и типичная планировка. Рабочую силу, подходящую для Германии, отправляли в одну загородку, детей — в другую. Дети так плакали! Особенно запомнился истошный крик мальчика: «Мама!» На сортировке был немецкий врач и русская женщина, наверное, тоже врач. К немцу-врачу подошел какой-то другой немец, и он отвлекся как раз в тот момент, когда проходил отец. Женщина сморщила лицо и сказала папе: «Быстренько проходите!» Может, она была человеческой. Папа прошел. Мама показала свои документы. Ей было только 45 лет, но она была очень больна.

Нас всех отправили в третью сторону, не к детям и не к тем, что должны были отправиться в Германию. Мы долго ехали и приехали в местечко Пограбец. Нас там просто выгрузили из вагонов

и сказали: «Идите, устраивайтесь!» Не очень-то хотели литовцы нас принимать, но их заставили. Староста поселил нас в дом к глухонемому, который жил вдвоем с дочкой. Там были антисанитарные условия, и клопы, и блохи. От хозяев мы заразились какими-то чирьями. Я помню гнойники, нарывы были у меня, как погоны. Это было очень болезненно. Потом нас пожалела и взяла к себе в дом какая-то одинокая литовка.

Отец и брат пошли работать грузчиками в организацию, где принимали собранные крестьянами лекарственные травы. Травы надо было грузить на склад и в поезда.

В 1944 году нас освободили. Вошли солдаты тихо. Не было ни одного выстрела. Просто на улице появились советские танки. Наши давали им цветы, а литовцы и поляки сразу пошли в банды. Они знали, что такое колхоз и не хотели советской власти.

Я пошла в школу, в 4 класс. Школа там была только начальная. Отец пошел работать главным бухгалтером в «Заготзерно». Брата вызвали и предложили поступить в милицию. Владимир согласился. И два его друга, Володя Ткачев и еще один, тоже согласились. Лучше бы в армию пошли. Маме из Могилева кто-то написал, что мамин брат Миша живет в Лиде. Мама съездила в Лиду. Брат угова-

Володя Черняк, брат Евгении Черняк, 1953 г.



ривал переехать к нему. Но отца и моего брата переехать не отпускали. Отцу предлагали стать главным бухгалтером в головной организации в Вильнюсе, чтобы дети могли учиться. Отец не согласился. В конце концов, мы оттуда убежали. Чтобы попасть в Лиду, брат написал, что хочет учиться на учителя. В Лиде из профессиональных учебных заведений, вроде бы, был только один педтехникум.

Отец сделал в своей кассе «ажур», т. е. подбил копейка к копейке. Он оставил очередное заявление, договорился со своими коллегами и уехал. Брат оставил заявление, что уехал поступать в педтехникум. Он сдал экзамены экстерном и поступил на учителя. Отца никто и не искал, а брата искали. Когда Владимир был на занятиях (в Лиде), пришел сотрудник КГБ в техникум и проверил, действительно ли он там занимается. Так мы остались в Лиде.

В Могилев вернулись в 1952 году.

*Могилевские
юноши,
играющие
в лапту.
Фото конца
1940-х гг. из
семейного
альбома
Евгении
Черняк*



Шевехман Люба Самуиловна, 1932 г. р.



Отца убили кулаки, когда я только родилась. Мама, Фаина Ильинична Сакина, 1912 г. р., работала в детском доме в Могилеве, который был где-то на вокзале. Когда мне было 2 года, мама вышла замуж второй раз за своего односельчанина из деревни Селец, Леву Фильзота. Жили мы на Луполово. Фильзот работал на кожзаводе, потом стал военным. Он был для меня, как

отец. Но отчим меня не удочерил, потому что на меня мама получала пенсию, больше 100 рублей. У меня родились две сестры, Рая и Оля.

До 16 лет я не знала, что у меня был другой отец. Когда я в 16 лет пришла получать паспорт, там было написано, что я Пелевич Любовь Самуиловна. А я с детства знала, что я — Люба Львовна Фильзот. Сестры тоже только тогда узнали, что у нас разные отцы.

В 1938 году мы переехали в Минск. В 1939 году, во время войны с Польшей, отца перевели в военную часть под Белосток, и мы переехали туда в поселок Рудки. Там жили до начала войны. Мама работала в магазине. Я пошла в первый класс. Нас там учил молодой солдат.

Когда началась война, мама была беременной. Во время войны родился брат Владимир.

Отца забрали на фронт. Мы бросили все вещи и вместе с еще несколькими семьями из Могилева и Минска поехали в Могилев. С нами были две еврейские семьи: учительница Метелица с двумя детьми из Минска, Глаша из Фрунзе, тоже

с двумя детьми. У нас был «литер» (право бесплатного проезда на поезде. — *Ред.*) от военкомата. Ехали очень долго. Поезд останавливался. Бомбили. Солдаты нас подкармливали. Должны были везти в Казахстан, но эти три женщины сказали, что больше ехать не могут, и высадились в Ульяновске. Дали нам место в общежитии возле домика, где Ленин жил. Приносили нам еду. Потом направили в колхоз в 50 километрах от Ульяновска (Богдашенский район, Малоногаткинский сельсовет, деревня Александровка). Там мы, три мамы и восемь детей, прожили всю войну вместе в одном домике. Когда родился брат, я ходила по деревне с кружечкой и просила, чтобы кто-нибудь дал молока. Нечего было ни одеть, ни обуть. Но очень были добрые люди. Кто пшена принесет, кто стакан муки. С нами в эвакуации еще была папина сестра Шифра с маленькой дочкой, но девочка заболела и умерла.

Папа, Лев Моисеевич, погиб. Прислали извещение о его смерти. Он был командиром танка и сгорел в нем. В военкомате назначили пенсию на троих. Мамины сестры, Гися (она была старшей) и Лиза, с детьми и бабушка Хана Сакина прятались в Шклове, где Гися работала в школе учительницей. Там всех их немцы и расстреляли. Брат мамы, Хача Сакин, погиб на фронте.

Памятник на месте перезахоронения евреев Могилева, уничтоженных фашистами, на еврейском кладбище



В Сельцах убили прямо дома дедушку Лейба и бабушку Рохл Фильзот. Дедушку застрелили прямо в огороде. Пять сестер моего родного отца погибли с детьми. Где именно, не знаю. Выжили из всей семьи только один их сын, мой племянник Лазарь Черный, и сестра папы, моя тетя Дина Лазаревна Пелевич. Она до войны выучилась на медсестру, воевала от начала до конца войны.

В 1944 году, когда освободили Могилев, мы вернулись. Приехали и сидели на вокзале. Ничего у нас не было. Идти было некуда. Все-все погибли.

Шепелянская Раиса Мееровна, 1935 г. р.



Когда началась война, мне было 6 лет. Мы жили в Могилеве, на улице Первомайской, на первом этаже двухэтажного особняка. Дом стоял на месте ресторана «Габрово». Мать, Сара Моисеевна, не работала. Отец, Меер Эльевич Шухман, был сапожником. У них было 11 детей, но только 4 осталось в живых. Кто-то умирал в младенчестве, кто-то позже. Отец и мой старший брат остались в городе и погибли при обороне Могилева. Остались в живых только старшая сестра Геня, два старших брата и я. Брат Иосиф (Леша) в 17 лет ушел добровольцем на фронт.

Я помню, как по дороге в эвакуацию я потерялась. Поезд бомбили. Так получилось, что мама с Геней поехали дальше, а я осталась одна в лесу. Два дня бродила по лесу с куклой в руках, пока не встретила какого-то мужика. Он взял меня с

собой и привез в Среднюю Азию, в Бухару. Отвел в милицию. Оттуда направили в детский дом в город Гиждуван.

До сих пор не могу без слез это время вспоминать. Били меня там страшно. В первом украинском детдоме били дети за то, что я еврейка. Ужасно били. В 5 часов утра нас поднимали и выгоняли собирать хлопок. Если не соберешь норму, то на три дня оставляли без еды. Собирали огрызки. Ели траву, листья, цветы акации. Теперь желудок больной. Каждый день умирали дети. Болели малярией. Помню, как я попала в больницу. Мест не хватало, и меня положили в одну кровать с девочкой. Утром я ее трясу, а она мертвая.

Во втором детдоме били воспитатели. Били за любую мелочь. За то, например, что взяла с подноса кусочек хлеба: не тот, что ближе лежал, а корочку. За это били до потери сознания.

В этом детдоме мы тоже много работали. Мы пряли нитки, потом из них вязали варежки и носки для солдат на фронте. Чтобы маленькие дети могли дотянуться до прядильных станков, нас, малышей, ставили на скамейку. Я запомнила, что меня хвалили, что у меня, такой маленькой, получалась очень ровная нитка. Те девочки, у которых не получалось прясть, вязали. Было очень тяжело. В трудовой стаж эти годы не вошли, так как никаких документов не осталось и никому теперь ничего не докажешь.

В этом втором детдоме была воспитательница-белоруска из Минска. Она хотела меня удочерить, и я даже немного жила с ней в общежитии. Воспитательница вернулась в БССР и взяла меня с собой. Везли нас на поезде поляки вместе с польскими детьми. Всех польских детей забрали

в Польшу, где бы они ни родились. А мы оказались в Шклове. Воспитательница устроилась на работу в Шкловский детдом. В 1947 году меня через Красный крест нашел вернувшийся из армии брат Иосиф, и мама забрала меня к себе. У брата уже была своя семья.

Мы жили в том же доме, что и до войны. Жили втроем: я, мама, Геня. Жили очень бедно. Помню голые стены, на которых лежал снег, когда вернулась домой. Ничего из имущества не сохранилось. Когда я вспоминаю свою жизнь, то всегда расстраиваюсь. Столько горя, бедности, страданий и унижений было, что не передать.

Хожу на еврейское кладбище, где все родные похоронены, нечасто. Теперь туда страшно ходить. Раньше евреев было больше, а теперь никому за могилами ухаживать.

Очень многие уехали, а остальные умерли.

Якубовская Людмила Иосифовна, 1931 г. р.



До войны мы жили на улице Ленинской, там, где до недавнего времени находился детский приемник-распределитель. Переехали мы сюда в 1937 году, когда мне было 6 лет. У нас во дворе жили три русских семьи, остальные были евреи. Из русских: мы (я, мама и бабушка), внизу — большая семья Ивановых и еще семья дворников. Семьи еврейские постараюсь вспомнить по памяти: Мендельштамы (Эмма и ее брат Макс), Цивины, наши большие друзья Оникулы (дядя Боря, тетя Мина, ее сестра Хана и трое детей:

Сара, Басейка и Циля — после эвакуации жили под Ленинградом в Павловске, потом уехали в Америку), Гинсбурги (брат и две сестры). Фамилию одной семьи сейчас не помню — глава семьи возил какого-то начальника на «эмке» и в воспоминаниях осталось лишь большое счастье, когда он катал нас от дома до нынешней Советской площади. Мы облепляли машину со всех сторон — лишь бы проехать эти 10 метров.

Так вот и жили-дружили, играли в «Пикера» и в войну. Рядом жили врачи Александровы, с детьми которых, Люсей и Донькой, я дружила. Мама их, урожденная Махлина, была глазным врачом. Еще помню Шнеев, семейную пару Свицерских, мадам Сохлину и сына ее Фиму. Он работал на заводе рабочим, а она вставала в 5 утра и шла на хлебозавод, откуда в больших плетеных корзинах приносила теплые булочки. У нее около каких-то ворот было свое место, где она их продавала до

Старый дом на ул. Ленинской, в районе которого до войны жила с семьей Людмила Якубовская. Фото 1980-х гг.



8 утра. Часто мама заказывала у нее пару плюшек, и она нам приносила их к чаю.

Еще помню девушку Зину, у которой был еврейский парень Мотя. Он и его сестра Хана жили тоже в нашем дворе, только в другом конце. Они учились в еврейской школе № 3 (кстати, школа № 1 была белорусской, а наша № 12 — русской). Я, бывало, рассматривала их учебники с таким интересным шрифтом. Мотя ушел на фронт и погиб. Зине тогда было 17 лет.

Вообще, смешанные браки были довольно нормальным явлением. Мама моей подруги Любы была замужем за подполковником Кладницким. Вторая ее сестра Лена была замужем за Василием Градбихом — лейтенантом НКВД.

Как я уже рассказывала, мы очень дружили с семьей Оникулов. Дядя Боря был заготовителем и иногда имел возможность достать для нас по паре туфелек: для мамы и для меня. Платить мы особенно не могли. Бывало, приходила тетя Мина и

*Вид на город
с Днепра.
Фото Бориса
Жорова
1930-х гг. из
семейного
альбома
Лилии
Адливанки-
ной-Жоровой*



говорила маме: «Лида, вы должны купить себе этот материал. Это как раз по вашим деньгам. Идите и закажите себе что-нибудь». А потом, когда мама сошьет себе платье, она подводит ее к большому зеркалу, вертит и приговаривает: «Смотрите, как хорошо! Как красиво, какая фигура!»

Часто дядя Боря брал билеты в кино. Тетя Мина из-под нашего окна кричала: «Лида! Что вы там делаете? Опять лежите? Соберитесь, мы идем в кино». А по воскресеньям дядя Боря водил нас в парфюмерную лавочку, которая находилась здесь же, напротив нашего дома. Ее хозяин был хорошим знакомым дяди Бори. Он давал нам для игры пустые флакончики из-под духов или одеколona.

Вообще, я у них пропадала все время, когда мама была на работе. Пела, часто играли в лото, слушали радио. Очень хорошо помню, как я и дети Циля, Масейка, Сара сидели и слушали передачу по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

Мама, когда осталась одна со мной на руках, устроилась швеей в артель «Первое мая», которая

*Люда
Якубовская
с родителями,
Могилев,
1936 г.*



находилась на обувной фабрике. Работали там почти одни евреи. Все приходили со своими швейными машинами. У мамы машинки не было, но ее взяли. Узнав, что у нее маленький ребенок (мне тогда было два года), ей всегда выдавали путевки в дома отдыха матери и ребенка. Она шила очень аккуратно, ее работу всем приводили в пример, но заработать много она не могла, так как работала медленно. Вообще, в еврейской среде ее очень жаловали и приглашали замуж. Был такой Мон, он шил пальто. Как-то раз мы зашли к нему на примерку, и он говорит: «Ну, Лида, что ты выиграла, что за меня не вышла?» (это было уже, правда, после войны).

Когда, чуть раньше, мы жили на Дубровенке, у нас тоже многие соседи были евреями. Здесь у такой хозяйки Печериhi были «прибыльные» два дома, где она сдавала квартиры.

Мама часто ходила в ночную смену. Она тогда работала санитаркой в больнице, а бабушка подрабатывала нянькой. Я оставалась одна. Утром я просыпалась, забиралась на подоконник (мне тогда было 3—4 года) и просила всех соседей, кто проходил мимо, чтобы меня выпустили. Обычно моим спасителем оказывался Бенька. Он брал ключ под подоконником, отпирал дверь, одевал меня, выводил на улицу, мы с ним катались на санках. Он хорошо знал, когда должна вернуться моя мама, и за полчаса возвращал меня домой и клал ключ под подоконник.

Однажды внучка Печериhi Тамара свела меня гулять на Дубровенку, а мы тогда переехали уже на Ленинскую. Мне тогда было лет пять. Играли мы, играли, и вдруг ее мама говорит: «Мила, иди домой. Тамаре уже пора спать». Хорошенькое

дело! Зима, холодно, темно. А я не знаю, куда мне идти. Я вышла, стою и плачу. Тогда я решила пойти к Беньке. Его маме, тете Сосе, я все рассказала. Но она тоже не знала, куда мы переехали. Она сказала: «Ничего. Будешь спать с Бенькой на печке». И только я собиралась лечь спать на теплой печке, появляется моя мама. Она, конечно, очень переживала и, подумав, решила, что я могу пойти именно сюда.

После войны Бенья появился в нашем доме уже взрослым парнем, а я тогда училась в шестом классе. Начал меня тормошить, расспрашивать, но я очень стеснялась и буквально онемела, так ничего ему и не сказала.

Училась я в Пожарном переулке в школе № 12. В школе тоже было много еврейских детей. Толь-

*Люда
Якубовская,
Могилев,
1936 г.*

ко за год до начала войны нас перевели в нынешнюю школу № 16. Со мной в классе учились Феликс Рейзлин, Брайнин, Додик Шейнин, Элла Зейтман, Маня Эпштейн, Люсик Гимпельсон. Кстати, я прекрасно понимала идиш, для меня особой разницы даже не было на каком языке говорить. Мы очень любили мацу, которую иногда приносила тетя Мина. Но особенно мне запомнилась тушеная картошка с черносливом, что она готовила. Наши знакомые, насколько я



помню, особенно еврейские традиции не соблюдали. Это были простые рабочие, люди достаточно бедные, и, наверное, им было не до этого. Но я прекрасно помню, что в одном окне часто видела молящегося еврея, покрытого «таласом», качающегося в такт словам. Я была очень любопытная, для меня это было очень интересно.

Мы вообще не придавали значения национальности, и имена были интернациональные: Римма, Эрна, Элла и др. Конечно, люди были всякие: и евреи, и русские. Жил во дворе Абрашка. Звали его «жирная цыцка». Такая уж радость. Вот как-то сидят пацаны на лестнице, а мама идет с работы и несет бутылку покрашенного денатурата. И Абрашка говорит: «О, пьяница идет». Тогда мама пошла домой и вынесла ведро с водой. Спускаясь по лестнице, она окатила его этой водой, а он в ответ послал ее матом (а было ей тогда где-то лет 28 всего). Мама погналась за Абрашкой и

*Район речки
Дебри.
Фото Бориса
Жорова
1930-х гг. из
семейного
альбома
Лилии
Адливанки-
ной-Жоровой*



влетела за ним в его квартиру. Тетя Хася, Абрашкина мама, запричитала: «Лида! Лида! На вас лица нет! Лида. Он уже под кроватью, он уже уписался, успокойтесь». Вот с тех пор ей вслед никто ничего не говорил.

В самом начале войны и оккупации все еврейские семьи расселили на Дебре. Дом наш на Ленинской сгорел, и мы переселились на Мышаковку. Я в город всегда ходила через Дебрю и видела там много переселенных семей. Всех заставили нашить на левое плечо и спину такие рыжие круги с шестиконечной звездой. Но прожили евреи здесь недолго: к концу лета, по-моему, их переселили на Дубровенку. А мы в это время переселились в брошенную квартиру поблизости.

Там же жила девочка-еврейка Маня Эпштейн, с которой мы сидели за одной партой в школе. Она была из бедной простой семьи: отец был рабочий, мама — домохозяйка, жили они в трехэтажном красном кирпичном доме, который стоял на спуске за ДК Швейников прямо на Дубровенке. Я часто у них бывала и, когда пришли немцы, решили сбежать посмотреть, здесь ли еще Маня. И вот я застала такую картину: стоит грузовик, на скамейке, возле кабины водителя, сидит Маня, а рядом в горшке стоит фикус. А в руках она держит ухват для печки. Мама ее несет еще какой-то узел. Я спрашиваю: «Маня, ты куда?» А она мне так весело: «Нас всех переселяют в новое гетто, где-то по Минскому шоссе». А потом уже мы узнали, что отсюда их повезли всех в Сахарный ров — это между железной дорогой и Дубровенкой, там, где сейчас микрорайон Мир-2, и там они были расстреляны. Чтобы не было лишних разговоров и паники, для вида разрешалось брать все: хотите цветов, хотите

вещи. Мне говорили, что в районе Мышаковки люди видели еще одну одноклассницу, Элли Зейтман. Она была одна, родители, по-видимому, уже погибли. Она избегала заходить в дома, никто ее не смог приютить. Потом она пропала.

На Мышаковке жила одна семья. Жена была еврейкой, а муж русский. Не помню их фамилию. Жили они в красивом доме. Двое детей. Мать мужа была против этого брака. Она же и донесла на жену. Их арестовали и вывезли в гетто. Отец не оставил семью и поехал с женой и детьми. Все они погибли в гетто.

Могилевские евреи пришивают шестиугольные звезды на одежду. Фото августа 1941 г. из Федерального архива Германии

Что из себя представляло гетто? Оно, по крайней мере сначала, не было огорожено колючей проволокой. Просто выделяли место, где было много свободных домов. Частично выселялось оттуда и русское население (к знакомым, к родственникам, в пустые оставленные дома). Ведь очень много людей уехало в эвакуацию. Собственно говоря, эти гетто существовали так



недолго, что, наверно, немцам не было смысла вводить какие-то особые законы и ограничения. Маня как жила на Дубровенке, так там и осталась, пока их оттуда не вывезли. Единственное, что знаки свои все евреи должны были носить обязательно. Были и облавы, когда евреев искали. Были люди, которые прятали евреев, были и те, кто выдавал. Я как раз тогда жила в этом районе и помню случай. Жили там брат и сестра. Сестру звали Марта, а брата — не помню. Было ему лет шестнадцать. Сама видела, как он кричал полицаям: «Вон она, там, на чердаке, прячется!»

Район речки Дубровенки, где в 1941 г.

Мама моя была на фронте. Я жила с бабушкой-инвалидом и жили мы, конечно, очень бедно. Мы распродали несколько маминых вещей и даже стали голодать. Я ходила пешком в Селец за продуктами. Когда там освобождался дом (еврейский, нееврейский неважно) налетали деревенские и хватали, кто что мог.

находилась могилевское гетто. Фото Бориса Жорова 1930-х гг. из семейного альбома Лилии Адливанки-

А я услышала, что в Могилеве в это время функционировал детский дом. Находился он в

ной-Жоровой



районе кладбища, где сейчас консерватория. Это было одноэтажное деревянное здание.

Я сама пошла на прием к городскому голове доктору Фелицину. На вид это был очень симпатичный, респектабельный господин. Кабинет его был на втором этаже здания, где теперь городской центр культуры, напротив ЦУМа. В его кабинете сейчас каминный зал. Как была я босиком, в коротком платьишке, из которого давно выросла — так и пошла. Я ему все рассказала, что мама и папа у меня на фронте, живу с бабушкой. Сейчас практически погибаем. Он мне дал направление в детский дом.

Воспитателями в детдоме были покойная уже Юзефа Иосифовна Куявская, Анна Дмитриевна Хохрякова (ее муж позже стал начальником могилевского Спорткомитета). Это были очень хорошие люди, очень добрые, отзывчивые и смелые. Юзефа Иосифовна была очень активной, очень красивой женщиной. Она пела, танцевала, пересказывала нам романы Сенкевича, читала Гоголя. С ней было интересно. Ее все дети очень любили.

К нам часто прибегала в детский дом еврейка Зина Соморева. Отец ее был на фронте, а всю остальную семью расстреляли немцы в гетто. Зине удалось убежать, каким образом, я не помню. С тех пор Зина вела кочевой образ жизни, нигде долго не жила, наверное, боялась попасться, да и характер у нее был такой непоседливый. Она на еврейку была совсем не похожа: волосы рыжие, нос широковатый, бульбинкой. Девчонка эта была боевая, отпетая хулиганка. Остановилась она в детдоме буквально на пару дней. Ее переодевали, кормили, давали отоспаться, и она снова пропадала. Всего у нас было шесть девочек,

и все знали кто она, но никто ее не выдал. По рассказам, попадала она в руки немцев, но когда ее спрашивали, не еврейка ли она, Зина ругалась на них матом и кричала: «Я русская!» И ее отпускали.

Как-то Зина ночевала у нас очередной раз. Спала она вместе с одной девочкой Изой. Ночью Иза вышла в туалет, на обратном пути ошиблась комнатой и попала в комнату мальчиков. Она не разобралась, крикнула: «Чего разлеглась, подвинься, рыжая!» Мальчишка спросонья тоже выскользнул из постели, Иза заняла ее сама. Утром, конечно, начался гвалт и много смеха. Так вот и бегала Зина до освобождения Могилева. А после войны попала в этот же детдом к той же Юзефе Иосифовне. Работала она потом на обувной фабрике и, как сейчас помню, танцевала в ансамбле, где выступала и я. Вышла она замуж за нашего приятеля по ансамблю. Звали его Лазарь, фамилию забыла. Стала

Еврейский мальчик на могилевской улице. Фото августа 1941 г. из Федерального архива Германии

в городе очень известным человеком, членом партии, депутатом, заседала в каких-то президиумах. Отец ее вернулся с войны без ног, но, к сожалению, стал наркоманом, так как во время и после ампутации ему давали какие-то наркотические обезболивающие. Я это знаю потому, что мама работала тогда медсестрой, и он иногда приходил к ней, просил хотя бы эфира. Позже он женился повторно, тоже на еврейке, и у них



родился сын, помню, такой косоглазый мальчик. Жили они в Пожарном переулке, напротив нынешнего статуправления. Там они сапожничали. Часто его можно было видеть на улице сидящим на своей табуретке. Вот такая история.

Неподалеку от нас жила польская семья Яковицких с четырьмя детьми. Еще перед войной их отца арестовали, а мать Янину заставили сотрудничать с НКВД. В первые дни оккупации к ней пришли чекисты и приказали вывезти их из города. Женщина, кончавшая до революции Смольный институт, очень хорошо знала немецкий язык. Она провела НКВДистов через линию фронта, там ей приказали вернуться в Могилев, прийти к Фелицину и сказать ему, что его дочь со своими детьми находится в Новгороде, и если он откажется сотрудничать с партизанами, они пострадают. Вернувшись домой только зимой 1943 года, Янина так и сделала. Она пришла к Фелицину и сразу же сказала ему все, что ей поручили. Как только она вернулась домой, ее и 16-летнюю Ирэну сразу же арестовали и отвезли в гестапо. Их долго пытали. Янину расстреляли. Ирэна заболела тифом, и ее поместили в подвал. Девочка болела несколько недель, но выкарабкалась. Как-то, когда охранник отошел, она полуголая в каком-то полотенце вышла из подвала и пошла домой. Я случайно встретила ее по дороге и привела к нам. Так война подарила мне сестру. У нее никого не осталось. Старший брат ушел в партизаны и там погиб, младшие братья-близнецы погибли во дворе театра в первое же лето войны, подорвавшись на каком-то снаряде.

Однажды я с Ирэной, которая после побега из гестапо жила у нас, попала в облаву на Быхов-

ском рынке. Рынок окружили немецкие солдаты в черном. Через калитку стали выгонять приехавших из деревень молодых парней и девушек. Мы подходим к мосту через Дубровенку. Прямо перед нами остановилась красивая большая черная блестящая машина «Опель-кадет». Из машины вышел высокий холеный немец в длинной красивой коричневой шинели тонкого сукна с бобровым воротником, в высокой фуражке, блестящих отполированных сапогах, на носу — блестящее пенсне без оправы. В руках он держал фотоаппарат. Мне было только 13 лет, и отправка в Германию не грозила, а Ирэне уже исполнилось 17. Я вытянула голову и кричу: «Онкель! Сфотографируйте меня!» А немец смотрел не на меня, а на Ирэну, одетую в какие-то лохмотья и с ежиком только начавших отрастать после тифа волос. «Эта девושка или мальшик?» Ирэна в совершенстве знала немецкий. Она стала объяснять, что она русская немка, наша безработная мать отправила нас поменять ведро картофельной шелухи на литр молока. Я бегала вокруг, что-то верещала. Немец взял меня за шарфик и подтолкнул коленкой под зад, дескать «беги, убирайся отсюда вон». Я обрадовалась и припустила бегом вверх в сторону лица, тогда гестапо. Ирэна за мной побежала. Мы слышали крики, плач задержанных ребят. Тех, кого потом привезли в старое здание мужской гимназии и вывезли в Германию.

Во время войны работало два кинотеатра: «Родина» — «Зольдатенкино» для немецких солдат, которые ходили туда со своими девушками, и «Чырвоная Зорка». В «Зорке» шли замечательные фильмы для горожан на немецком языке, но с титрами — голливудские: «Эшнапурский тигр»,

«Индийская гробница»; немецкие: «Анеттте», «Моя подруга Жозефина» про девушку-модельера.

Фильм «Агнесса» был тоже про девушку, которая накануне свадьбы с Георгом попала в больницу с аппендицитом, там она влюбилась во врача, который ее оперировал, вышла за него замуж, у нее родились трое сыновей, потом муж в фашистской форме уходит на фронт, погибает. Подрастают сыновья Агнессы. Показывали, как мальчики играют на пианино и сначала на полу стоят маленькие туфли с носочками и шортики, потом туфли побольше и штаны ниже колена и потом — уже взрослые мужские туфли и брюки. В форме «гитлерюгенда» сыновья уходят на фронт. Вдова Агнесса встречается со своим бывшим женихом Георгом и они вспоминают прошлое. Был еще фильм, который я, правда, не смотрела, не пустили, по Фейхтвангеру «Еврезииус», потом название изменили на «Жидиус».

Фильмы были красочные, с красивыми актерами, с интересными мелодраматическими сю-

В кинотеатре «Родина» фашисты разместили солдатский кинотеатр. Фото 1942—1943 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



жетами и хорошим концом. В них была спокойная и благополучная, благопристойная, такая защищенная жизнь. Как было завидно!

Денег на билеты у нас, детей из детдома, конечно, не было. Мы с девочками тихонько проскальзывали за спинами посетителей, в основном выбирали пары посolidнее, и пока билетерша проверяла у них билеты, пробирались в пустую ложу позади последнего ряда и прятались там, пока не погасят свет. Нас никто не гнал. В кино и театре всегда были полные залы. Жизнь была очень тяжелая и страшная, людям нужны были зрелища, чтобы хоть ненадолго отвлечься.

Театр тогда был в Доме культуры, напротив кабинета Фелицина, а в здании театра — офицерский клуб. Театр тогда для меня был оазисом счастья. Туда мы пробирались также «партизанскими методами». Там шла «Гроза» Островского,

Немецкий солдатский клуб на Советской площади.

Фото 1942—1943 гг. из коллекции Олега Давида Лисовского



«Псиша» про гибель крепостной актрисы, «Хозяйка гостиницы» Гольдони. Хозяйку гостиницы играла Елизавета Михайловна Матисова — изумительная молодая актриса. Великолепно играла Кабаниху в «Грозе» немолодая актриса Мусерская Татьяна Ипполитовна, в доме которой мы жили, потомственная дворянка, дочь предводителя дворянства, служившего до революции в Городской думе. Играли актеры Михайлов, Игнатьев. Накануне прихода Советской Армии все актеры ушли в партизаны. После войны Матисова служила в Одесской оперетте, Игнатьев работал в Могилевском театре.

Я видела выпускавшийся (вроде бы в Могилеве) в 1943 году сатирический журнал «Бич». Там был эпиграф: «Бичуй бич». Помню страницу с изображением старика с седой бородой и усами на всю страницу и надписью «Сказки. Авдей Авдеевич Авдеев». Там была сказка про «Красную Шапочку-демократочку». На другом развороте — «Кровавые тайны Кремля» и карикатура: Берия у Сталина на коленях, или наоборот. Была карикатура на Красную армию: девушки в коротких юбках и с погонями спускаются вниз на парашютах.

Помню концерт детей из детского дома в кинотеатре «Чырвоная Зорка». Я тогда в детском доме уже не жила. Девочки и мальчики танцевали, пели, читали стихи. У них были специальные костюмы из бумаги.

Работала музыкальная школа, и я ходила туда. Было три педагога: Полина Григорьевна Петренко, Полина Аксентьевна Плещинская, Клавдия Александровна Колесникова (у которой я училась), и директор — Ираида Александровна Кореневская. Я пела в хоре школы, и однажды

нас даже пригласили выступать на радио в здании гостиницы «Днепр». Мы пели Моцарта, Мусоргского, классику и русские народные песни. Девочка постарше между песнями читала стихи о природе. Нам дали по 3 марки, и я была очень горда. Радио всегда работало. По городу были установлены «тарелки», и они были всегда включены, особенно на базаре.

На Первомайской, в витрине магазина, где потом было кафе «Снежинка», мы получали хлеб по карточкам. Там я как-то видела двух молодых людей, привязанных за руки к стульям. На шее у них висели таблички: «Отказался от работы, решил дома посидеть, посмотрите на лентяя...» Я мельком посмотрела на них, разглядывать было неловко. Прохожие старались не смотреть на них, все проходили мимо: если немцы посадили парней, то нам вовсе незачем было осуждать их.

Перед наводнением радио передавало сообщение о том, что надо выезжать тем, кто в районе Дубровенки живет, но никто не выехал.

Я видела наводнение. Мы стояли прямо на железнодорожных путях недалеко от моста. Услышали какой-то глухой шум, как небольшой взрыв, как хлопок, и вдруг весь песок, земля, вся насыпь под рельсами поехала в стороны под напором воды. Рельсы повисли, как канатная дорога, а мы бросились бежать назад. Провал за нами мгновенно разъезжался, вода из Карабановского озера за железнодорожной насыпью заполняла образовавшуюся брешь. Мост моментально смыло вместе с четырьмя привязанными канатами вербами, которые росли вдоль него. Выплыл огромный айсберг. Это было страшно. Мост поплыл, с треском поднялся с фундамента и поплыл

дом, который стоял рядом. Следом такие плыли громадные льдины, какие потом я видела только в кино. Мы пошли вниз, на озеро, которое опустилось вниз, все покрытое треснувшим льдом. Я заметила, что на столбах, на фарфоровых изоляторах, висели куски льда. Это значило, что вода поднялась на высоту столба. Я понеслась домой.

В кинотеатре «Чырвоная Зорка» был сеанс. Кто-то там крикнул: «Наводнение!» Началась паника. Все рванули к дверям. Я вбежала на свою Буличеву гору (переулок Тани Карпинской за школой № 1) и увидела, что бабушка сидит на лежанке, а до половины лежанки — сырой след и мокрый пол. Повезло. Я посмотрела в окно. На огороде лежала льдина метра три высотой. В то лето мы не могли ничего посадить. Льдина таяла все лето.

*Людмила
Якубовская
на фоне раз-
рушенного
Богоявлен-
ского собора
и ратуши,
Могилев,
1950-е гг.*



Много обломков льда было во дворе завода безалкогольных напитков. Мы лазили там, было очень холодно и таинственно. Все лето Дубровенка была шире, чем обычно.

Рядом с Дубровенкой в высоком трехэтажном доме жила моя знакомая тетя Тася. Когда пошла вода, она с дочерьми поднялась на чердак, а потом решила спуститься вниз за папиросами, но не успела. Вода нахлынула, но тут же спала. Мертвая женщина стояла на цыпочках на

лежанке, держась рукой за вьюшку. Она захлебнулась. Вода поднялась до самого верха высокого трехметрового потолка.

В наводнении погибла моя подружка, соседка Маня. Она прыгнула в воду за братьями. Братья выплыли, а Маню затянуло под льдину. Я видела, как плыл их дом, а подвыпившие пожилые родители-сапожники выглядывали из окна, улыбались. Из трубы шел дым. Смыло всю Дубровенку. Некоторые дома целиком выносило на лед Днепра.

Раньше дома строили на самом берегу речки, после наводнения их стали ставить подальше от воды.

Когда мы жили в районе Буличевой горы, как-то приходил молодой немецкий солдат. Он спрашивал у детей, нет ли у кого-нибудь почтовых марок. А у меня как раз был альбом с марками. Я нашла его где-то в развалинах. Тогда было вполне нормальным рыться в кучах мусора на развалинах домов, на пожарищах, в местах взрывов. Немец взял из альбома несколько марок Тувы разной формы и взамен дал упаковку леденцов. Такие были тогда цилиндрики из закрученных в бумагу разноцветных конфет, в форме шайбочек, уложенных друг на друга. О, я бы все марки отдала за конфеты.

На свалке я нашла и два роскошных тома «Истории искусств». Старинное издание с цветными иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой, мне очень нравилось. Когда наш дом горел, я схватила эти книги, чтобы спасти их от пожара. Мама ударила меня по рукам, книги выпали. Она всунула в руки самовар, и с ним я и пошла прочь. А книги погибли под рухнувшей стеной. Лучше бы я их спасла...

Именной алфавитный указатель

- А**
Абрамов 220
Авдеев 282
Аврамов 164
Аврутина 87
Агрест 144
Аддиванкина-Жорова 268, 272, 275
Аксельрод 160
Альтшуллер 85
Аскольченко 58
- Б**
Баландина 151
Барчик, Барчке 197
Басин 144
Белосток 198
Белоусов 56
Бергер 206
Береснев 5, 11, 14
Берия 282
Беседа 16
Беседа (Метлицкая) 15
Болозев 196
Болотин 86, 227
Болотовский 53
Бондарев 181
Борисова 159
Борисовой 160
Борков 182
Брайнин 271
Брудолей 19, 20, 21, 22, 23, 27
Буйновер 10
Бурденко 28
Бычиха 186
- В**
Вайман 29, 30, 33, 41, 42, 44, 47
Веккер 206
Веледницкая-Певзнер 176
Веледницкий 175
- Верн 213
Войтенко 49
Войтенко (Радзиковская) 48
Воронов 56
Воронова 53
Воронова (Шушкевич) 51
- Г**
Гайдар 269
Гартенберг 203
Герц 34
Гильбурт 211
Гимпельсон 271
Гинсбург 267
Глускер 81
Гольдони 282
Гольштейн 27
Горбачевский 57
Горовцов 213
Горфинкиль 159
Градбих 268
Грайко 255
Гриневич 181
Гришин 9, 11, 13
Громаков 144, 145, 146
Гуревич 23, 208
Гусаревич 37, 144
- Д**
Дворкин 72, 73, 74
Дворкина 72
Дегтярев 222
Джалишвили 59
Дли 71, 72, 74, 78, 79
Домбровский. 148
Драбкин 104, 107
Дробушевский 230
Дроздов 161, 162, 184, 185
Дымов 53
- Ж**
Жоров 268, 272, 275
- З**
Зейтман 271
Зеликов 184
Зеличенко 209, 210, 211
Зохан 110, 117
Зюбрицкий 188
- И**
Игнатъев 282
Идюшкене 237
Иоффе 81, 82, 83, 84, 87, 90, 91
Иоффе (Горбунова) 81
- К**
Каган 27, 153
Каганер 149, 150
Камеко 96, 98
Канторович 86
Карасик 149
Карначик 214, 215
Карпинская 160
Карпинской 167
Касаев 164, 174, 220, 233
Кацман 184
Келерман 102, 103, 104, 106
Киреева 123
Киселев 193, 195
Клепча 193
Колесникова 282
Колосовская 157, 159
Комиссарчик 108, 111
Копельман 88
Кореневская 283
Корсак 229
Костенко 159
Кравец 108, 109, 111, 116
Краснобаева 181
Краузе 134
Кристал 28
Крученный 222
Крысенков 56

Крючковский 206
Кузьник 118, 119
Куявская 276

Л

Лазаренко 15, 234
Лазарус 185
Ламнева 136
Ланцман 86
Левин 205
Левит 134, 135
Левит (Киреева) 120
Левитан 53, 86
Легенченко 27
Лесневская 242, 244
Лесневский 243
Либузер 142
Линдерова 215
Луговцов 175
Луговцова 178, 180

М

Матисова 282
Махлина 118, 267
Медников 35
Меер 175
Мельников 10
Мельникова 7, 10
Мендельсон 147, 153
Мендельштам 266
Менькина 113, 114
Мессингер 226
Мигая 31, 32
Микушкиной 165
Мильто 157
Мильто (Хренова), 154
Миндлина 29, 30
Михайлов 282
Михоэлс 210
Моцарт 283
Мусерская 282
Мусоргский 283
Мысов 162, 255
Мэтте 168

Н

Недведская 188
Низовцова 160, 161
Низовцова (Москалько-
ва), 159
Новиков 16
Ножницкий 102

О

Оникул 266
Осмоловский 213

П

Павлов 233
Павлова 232
Певзнер 86, 174, 175, 176,
178, 179
Певзнер (Шальман) 176
Пелевич 262, 264
Перельман 178
Перепелкин 8
Переплетчиков 8, 14
Перлина 104, 106
Петренко 282
Петровский 10
Печериха 270
Пимнева 174, 175, 179,
180
Плеханов 32
Плещинская 282
Плоткин 103
Плоткина 103
Поддубный 39
Подольский 106
Подстенная 184
Подстенная (Бычкова)
181
Пынтикова 196
Пынтикова (Магдалова)
189

Р

Рейзлин 271
Рогуцкий 52

Рожанский 114
Рубинштейн 30
Рыбаков 184, 185

С

Сакин 263
Сакина 262, 263
Сандлер 23
Свидерских 267
Симан 227, 229
Симонс 198, 200, 201, 207,
211, 212
Скулович 27
Соловьев 183, 185
Соловьяха 186
Солтен 85
Соморева 276
Соркин 122, 136, 137, 138,
142, 146
Сохлина 267
Сталин 88, 250, 282
Станкевич 56, 219
Стивенсон 213
Стукмейстер 92, 93
Суденков 181

Т

Терешков 12
Ткачев 260
Толкачева 7, 8
Тюнин 213, 215, 216, 217,
221
Тяпкин 14

Ф

Фарберов 86
Фелицин 276, 278
Фельдман 225, 227, 228
Фельдманы-Болотины
226
Филипенко 174
Филипович 56
Фильзот 262, 264
Фридман 147, 149, 150, 151

Фридман (Каганер) 147

Х
Хайкина 159
Хайман 153
Хейфец 85
Хенкин 201
Холявкин 182
Хохрякова 276
Хренов 156

Ц
Цейтлин 88, 121, 122

Ч
Чарный 20
Чеголя 205
Черковская 236
Черковская-Дробушев-
ская 231
Черковский 229, 230
Черненко (Батура) 238

Чернецкая 155, 158
Чернов 206
Черновая 59, 62
Черновой 60, 61, 69
Черный 264
Черняк 242, 243, 244, 245,
246, 260, 261
Чичирка 15

Ш
Шажков 184
Шальман 175, 177
Шапиро 59, 60, 62, 63, 67,
68, 149
Шевелев 206
Шевехман 262
Шейнин 93, 271
Шепелянская 264
Школьник 142
Шнайдер 121
Шнеев 267
Шнейдерман 156

Шнирельман 200
Шпагин 222
Штабель 10
Штамм 210
Шухман 264

Э
Эмдин 53
Эпштейн 115, 116, 271,
273
Эфес 104

Я
Ягода 227
Якимец 181
Яковицкие 278
Якубов 164, 166, 167
Якубовская 266, 267, 269,
271, 284
Яновицкий 77

Содержание

Предисловие к книге 2	3
Могилев	4
1068 дней оккупации	4
Береснев Герасим Борисович	5
Беседа (Метлицкая) Мария Лукьяновна	15
Брудолей Галина (Голда) Григорьевна	19
Вайман Михаил Исаакович	29
Войтенко (Радзиковская) Александра Ивановна	48
Воронова (Шушкевич) Анна Феликсовна	51
Горбачевский Николай Иванович	57
Джалиашвили Мира Романовна	59
Дли Зинаида Вульфовна (Владимировна)	71
Иоффе (Горбунова) Ася Ефремовна.	81
К.	94
Камеко Галина Максимовна	96
Келерман Нота Мотович	102
Кравец Марат Борисович	108
Кузьник Ким Абрамович	118
Левит (Киреева) Екатерина Федоровна	120
Ламнева Ольга Васильевна	136
Мендельсон Неся Абрамовна	147
Мильто (Хренова) Галина Николаевна	154
Низовцова (Москалькова) Валентина Павловна	159
Пимнева Ольга Павловна	174
Подстенная (Бычкова) Анна Максимовна	181
Пынтикова (Магдалова) Мария Ануфриевна	189
Симонс Арон Тевелевич	198
Тюнин Геннадий Федорович	213
Фельдман Михаил Соломонович	225
Черковский Бронислав Владимирович	229
Черненко (Батура) Зинаида Степановна	238
Черняк Евгения Петровна	242
Шевехман Люба Самуиловна	262
Шепелянская Раиса Мееровна	264
Якубовская Людмила Иосифовна	266
Именной алфавитный указатель	286

Разделенные войной
Дети войны вспоминают: Могилев

В двух книгах
Книга 2

Составители:
Шендерович Ида Михайловна,
Литин Александр Лазаревич

Компьютерная верстка:
А. Литин
Дизайн обложки:
А. Литин
Корректоры:
И. Заикина,
О. Серякова